

Александр Тихорецкий
Выстрел по Солнцу



Александр Тихорецкий

Выстрел по Солнцу

«Издательские решения»

Тихорецкий А.

Выстрел по Солнцу / А. Тихорецкий — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-859111-2

Герою этого романа, Евгению Александровичу Ленскому посчастливилось стать обладателем сверхъестественных способностей — он может одержать верх над любым противником в любых сферах жизни — бизнесе, спорте, любви. Казалось бы — живи и радуйся, но нашему герою этого мало, ему подавай — ни много, ни мало — тайну бытия. Содержание романа — тугой клубок событий, повествование переносит читателя из современной Москвы в провинцию времен пресловутых «лихих» 90-х, из мирной жизни — в первую Чеченскую. Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-44-859111-2

© Тихорецкий А.
© Издательские решения

Содержание

ГЛАВА 1	6
ГЛАВА 2	17
ГЛАВА 3	25
ГЛАВА 4	32
ГЛАВА 5	45
ГЛАВА 6	49
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Выстрел по Солнцу

Александр Тихорецкий

© Александр Тихорецкий, 2024

ISBN 978-5-4485-9111-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

*Посвящается
Любови Васильевне Катарской.*

ГЛАВА 1

Ленский снова видел лицо Вовки Каменева, прищуренные глаза, паклю белобрысых волос, капельки пота, выступившие в лучах безжалостного июльского полудня. Как и четверть века назад, Вовка кривил губы в презрительной ухмылке, показывая щербатые зубы, что-то кричал ему. Что? Ленский уже и не помнил, а сон в этом месте, словно намеренно, удалил звуковую дорожку. Впрочем, какая разница? – наверняка, что-нибудь издевательское, обидное. Крикнул и исчез в зарослях дикой ежевики, перемежающейся с прибрежным ивняком. Вот в последний раз мелькнула в чаще его полинявшая футболка, и он окончательно пропал из вида.

Это значит – дальше придется идти одному. Казалось бы, подумаешь, чего проще? Пробежать по тропинке, по тенистой влажной прохладе, скользнуть между кустов, усыпанных крупными сочными ягодами, но...

Здесь сон всегда обрывается, теперь, наверно, уже для того, чтобы снова вернуться страх и неуверенность, давным-давно забытое, угасшее, тяжкое, – будто старинное, потускневшее от времени зеркало оживает вдруг отражениями, и Ленский вновь становится Женькой, пятнадцатилетним мальчуганом, в плену противного липкого страха, замершем на краю своего Рубикона. Вместе с изображением возвращаются и запахи, и звуки, картинка оживает пением птиц, шорохами листвы, голосами мальчишек, всюду дурачащихся сейчас в речке, – всего каких-то пятьдесят метров и отделяют от этого рая. От пляжа, реки, от возможности сбросить майку, шорты, ворваться в прохладную, пестрящую солнечными бликами, воду. Нырнуть с головой, всем телом, каждым мускулом ощущая тугую, податливую упругость, сильными движениями рассекать, грести, плыть, что есть мочи, до изнеможения, а потом лечь на спину, и лежать так, долго-долго, будто в невесомости, потеряв счет времени, вслушиваясь в гулкое безмолвие воды. Женька представил это блаженство и едва не заскулил от тоски и жалости к себе.

Среди мальчишеских криков слышались и взрослые голоса, властные и требовательные, – это их воспитатели, Игорь Львович и Олег Львович, «Львовичи», как называли их все в округе, в глаза и за глаза. Округа – это что-то около десятка пионерских лагерей, еще столько же санаториев и домов отдыха, – знаменитая и прославленная Студеная Гута, курортно-туристический Сочи местного значения, – полным полно народа, и «Львовичей» знает или хотя бы слышал о них каждый. «Каждая собака» – как хвастливо заявляли они сами, – и в самом деле, с этим было трудно поспорить.

Львовичи были душой всех компаний, участниками всех без исключения, хотя бы маломальски значимых событий, выступали организаторами и вдохновителями самых разнообразных культурно-массовых мероприятий, вечеринок, попок и потасовок, ухитряясь при этом из всех переделок выходить целыми и невредимыми, без ущерба для здоровья и репутации. В быту оба занимали скромные должности инженеров на шефском заводе, что не мешало им во время летних каникул подрабатывать воспитателями в пионерлагере, как правило, в отряде старшего возраста, – причины, по которым руководство из года в год доверяло столь ответственный участок воспитательного фронта именно им, были очевидны: дисциплина в их отряде была «железной». За весь отчетный (три созыва) период, как правило, не случилось ни одного эксцесса, не было зафиксировано ни единого случая непослушания, нарушения режима, все директивы и пожелания начальства исполнялись своевременно и неукоснительно. Уборка территории, внешний вид, смотры, конкурсы, соревнования – за что ни возьмись, все в отряде было на высоте, можно было подумать, будто «Львовичи», и в самом деле, обладают какими-то совершенно недожизненными педагогическими талантами, какой-то уникальной секретной методикой; коллеги цокали языками и завидовали черной завистью. Впрочем,

ничего ни уникального, ни секретного в методике Львовичей не было, как, собственно, не было и самой методики; воспитательный процесс целиком был построен на старом добром насилии, – стараниями педагогов-энтузиастов в отряде была создана и отлажена тотальная система подавления, и подчинения гибрид армейской дедовщины и уголовных практик. С четким разделением на «овец» (бесправное большинство) и «волков» (удостоенных высокого доверия подручных, как правило, ребят постарше и покрепче), незамысловатой шкалой поощрений и наказаний. Заимствовано все было из жизни, обкатанное и одобренное временем: воровские понятия подверстывались критериями социального одобрения, страх и стыд одних – наглостью и безнаказанностью других; оставалось лишь пожинать плоды и делать хорошую мину.

Наладив, таким образом, быт подопечных, «Львовичи» получили широчайшие возможности для организации быта собственного, в данный момент, например, они собирались опробовать новенькие, недавно привезенные из города спиннинги, – мероприятие тем более знаменательное, что было приурочено к открытию «нового места» – полоски пляжа, отвоеванного у дикой прибрежной чащи, – подвиг, достойный Колумба, Магеллана и сэра Фрэнсиса Дрейка вместе взятых.

Экспедиция состоялась неделю назад под предводительством все тех же «Львовичей»; Женька и еще несколько «овец» были взяты в качестве дармовой рабочей силы, в официальных отчетах стыдливо именуемой «силами отряда». Поводом для вылазки стал поиск водоема для купания – старые лягушатники с мутной, грязной водой не отвечали требованиям санитарно-санитарного ГОСТа и – главное! – требованиям самих «Львовичей», которым просто позарез нужно было стать лучшими в очередном конкурсе воспитателей; стоит ли говорить, что руководством лагеря идея была принята «на ура».

С поставленной задачей отряд справился довольно быстро, еще час (чтоб не прознали и не перехватили завистники-конкуренты) ушел на маскировку прохода.

– А теперь – в воду! – скомандовал один из «Львовичей», и мальчишки, потные, измученные, но счастливые, бросились в реку.

Место и в самом деле оказалось – что надо. Лента золотистого берега, защищенная от любопытных взглядов стеной зарослей, чистое и пологое дно, небыстрое течение. Накупавшись вдоволь, набегавшись и наозорничавшись, ребята повалились прямо на песок и принялись уплетать (праздничный обед) бутерброды с маслом и джемом.

В зарослях щебетали птицы, ветерок легонько трепал листву, – «хорошо бы сюда на ночное прийти», – мечтательно переговаривались между собой «Львовичи», – все было чудесно.

Наевшись и напившись, Женька устроился в тени прибрежного ивняка. Уткнулся в ладони, представил, как колышется река, как играют на воде солнечные зайчики. Зайчики роились, множились, перекатываясь по зеленоватой толще, расплывались, смазывались...

Разбудило неприятное, чужое и холодное, прикосновение. Будто кто-то провел по спине толстой мокрой веревкой, провел и тут же сдернул; Женька вскочил. В голове еще кружили хлопья сна, еще мерцали зайчики, но он уже чувствовал – произошло (а, может, и до сих пор происходит!) что-то недоброе, нехорошее. Он осмотрелся, окончательно просыпаясь, – окружившие его мальчишки громко хохотали, держась руками за животы, переламываясь пополам. Понятно, что смеялись над ним, но почему?

Женька переводил взгляд с одного лица на другое, наткнулся на рты, отвратительно влажные, красные десны, задранные вверх подбородки. Это продолжалось и продолжалось, мальчишки корчились от хохота, а он стоял, глупо и беспомощно улыбаясь, стоял и ненавидел себя, своих обидчиков, ненавидел и еле сдерживал слезы. Понимая, что стал жертвой какой-то гадкой и гнусной выходки каждым нервом, каждой клеточкой ощущая собственное ничтожество, отверженность; наконец один из мальчишек, тот самый Вовка Каменев, икая и давясь, показал на него пальцем:

– Мы на тебя уже выпустили...

Переход был слишком резок – Женька моментально представил себе извивающееся змеиное тело, и его тут же тяжело и страшно стошнило. Он даже не успел отбежать, скрыться, и его рвало прямо на золотистый, воздушный песок в самом центре пляжа.

– Что у вас тут происходит? – голос Олега Львовича вонзился штопором во весь этот ужас.

Все притихли, опустив головы, виновато переглядываясь.

– Это что? – палец педагога указал на безобразные пятна. – Это ты, что ли? – в голосе боролись брезгливость и недоверие. – Ты что, охренел?

– Мы ему уже на спину положили, когда он спал, – несмело проговорил кто-то из мальчишек.

– Ты у меня уже этого сожрешь сейчас, придурок! – хорошо поставленным голосом воскликнул педагог.

Восклицание немедленно генерировало новые образы, Женька бросился к кустам. Вытирая рот ладонью, он различал приглушенные голоса:

– Так кто же знал, Олег Львович? Мы ж пошутить хотели. Да ничего не будет, мы разберемся...

Женька стоял, отвернувшись, и беззвучно плакал. Сейчас больше всех на свете он ненавидел себя. Ну, почему, почему он такой лузер и размазня! Он не услышал, как подошел Олег Львович, и вздрогнул, когда на плечо легла тяжелая, крепкая рука.

– Жень, ну ты чего суксился? – воспитатель примирительно хмыкнул. – Плюнь! Ребята пошутили, развлечься хотели... Все, давай, короче – проехали! Того, кто это сделал, я накажу, обещаю. Только и ты, давай держи язык за зубами! Мы ж нашим отрядом на первое место идем, так что, не портить картину! Договорились? по рукам? – он по-приятельски ткнул Женьку в бок, не дожидаясь ответа, удовлетворенно мурлыкнул: – Вот и ладушки...

Женька не верил ушам – до него снизошел сам Олег Львович, один из порфириносного небожительского дуумвирата! лично попросил об услуге! Пообещал защиту! Ради этого стоило пережить позор, перетерпеть этого ужасного ужа, да что там ужа – десять, двадцать ужей! И всю обратную дорогу Женька ловил воспитательские ободряющие взгляды, не было ни насмешек, ни издевательств; надежды, мечты, одна смелее другой, роились в голове. Вот они возвращаются в лагерь, организуется что-то вроде сходки, во время которой «Львовичи» объявляют о его приближенности и неприкосновенности, не такой уж приближенности, конечно, чтобы уж очень – не надо ему никаких привилегий, ни вина, ни карт, ни сигарет, не хочет он и «волчьего» статуса – не такой уж он кровожадный, не злой, не жестокий, – просто с этого момента освобождается от всех этих унижительных кабальных процедур и правил: рукоприкладства, издевательств, продрозверстки после воскресных родительских паломничеств.

Увы, все закончилось в этот же день, на вечерней линейке. Совершенно неожиданно Олег Львович велел выйти из строя Вовке Каменеву и перед всем отрядом рассказать о случившемся. Женька не верил своим ушам – они же договорились! он же ему обещал! Надо, надо было вмешаться, что-то сделать, как-то остановить этот кошмар, но язык будто прилип к гортани, ноги приросли к земле, – непоправимое свершалось прямо на глазах! Будто вероломные, дебелие градины, под аккомпанемент смешков и издевательских реплик, падали, звучали немыслимые, ужасные слова!

Ораторским искусством Вовка не отличался, то и дело замолкал, запинаясь, и стоящий рядом педагог недовольно морщился, кривил губы.

– Ну, что ты мямлишь, Каменев! Повторяй за мной! – Вовка, не в силах сдержать расплывающуюся на весь рот идиотскую улыбку, выговаривал за воспитателем заумные, и оттого еще более обидные, позорные слова:

– Но мы не знали об особенностях пищеварения нашего товарища, и поэтому...

Его речь тонула в хохоте; хохотали все. Мальчишки, те, кого еще совсем недавно Женька считал, если не друзьями, так хотя бы не врагами, зловредные и злоязыкие девчонки, хохотали, отворачиваясь, даже оба «Львовича», уже и не старавшиеся соблюдать приличия.

Женька стоял молча, едва сдерживаясь, чтобы не расплакаться, весь красный от отчаяния и стыда. Только теперь он понял, что его просто обманули, все эти заигрывания и авансы – гнусная и хорошо продуманная акция, способ развлечься самим и устроить шоу для остальных.

– ...И вот потому, что Женя Ленский живет в одном корпусе со мной, я, Каменев Владимир, получаю три наряда вне очереди, – задыхаясь, повторял Вовка глумливые слова, заглушаемые взрывами смеха.

Слезы жгли глаза. Стараясь не выдать себя, глядя под ноги, Женька вышел из строя, спотыкаясь, побрел к лесу. Вслед раздались какие-то крики, кажется, его звали обратно, но он, не оборачиваясь, только дернул плечом. Никто и никогда не увидит его плачущим – это последняя ступень позора, хуже этого быть не может! И никто и ничто не заставит его вернуться! Он не будет участником этой мерзкой и вульгарной клоунады, оргии унижения, организованной двумя взрослыми, которым он зачем-то доверился.

Женька шел и шел, потеряв счет времени, не разбирая дороги, шел, пока не уткнулся в сетку-рабицу, обозначающую границы лагеря; только тут он остановился, огляделся. Что ж, что и требовалось доказать – ноги привели его туда, где ему хотелось быть больше всего. На небольшую полянку, скрытую от посторонних глаз густой порослью подлеска, – когда-то он набрел на нее, слоняясь по лесу в поисках ягод, и с тех пор полюбил, приходил всякий раз, когда хотелось побыть одному или выдавалась свободная минутка. Здесь все ему нравилось – чистый сухой мох, кольцо сосен, будто под циркуль высаженных идеально ровным кругом, и самое главное, просто жемчужина – небольшой, аккуратный муравейник, заселенный черными муравьями, – забыв обо всем, он мог пропадать здесь часами, наблюдая за жизнью этого маленького государства. Иногда, когда на душе было совсем паршиво, он набирал в спичечный коробок несколько муравьев из «рыжей» колонии и выпускал их внутрь, с каким-то горьким и мстительным злорадством наблюдая, как мелкие, но более многочисленные черные аборигены расправляются с рыжими чужеземцами – с последними он сравнивал самого себя. А что? Такой же большой, неуклюжий, бестолковый, такой же невезучий, никому-не-нужный, – почему! ну почему, судьба бросила его, «рыжего», в «черный» муравейник! Никогда, никогда не прижиться ему здесь! Никогда не стать своим!

Так он и не смог ни с кем здесь сдружиться, не нашел ни одной «родственной души»! – все, как сговорившись, сторонились, даже чурались его. Стоило лишь приблизиться к какой-нибудь компании, компания тут же распадалась, все попытки завладеть вниманием какого-нибудь зазевавшегося одиночки тоже терпели фиаско! – все выглядело так, будто в нем был встроен генератор ультразвука или какого-нибудь специального магнитного поля, отпугивающего окружающих! И – увы! – лагерь был лишь логическим продолжением, очередным доказательством и подтверждением правила, – все то же самое происходило и во дворе, и в школе.

В принципе – ничего нового или необычного, все прекрасно укладывалось в формат злочлчений «домашнего мальчика», выдернутого из тепличного своего мирка и брошенного в мир реальности; да! да! он, Женька Ленский – тот самый, хрестоматийный и прописной слюнтяй, размазня, маменькин сынок! Да, родители постоянно на работе, в командировках, воспитание души не чаявшей во внуке бабушки! Музыкальная школа, театр, коллекционирование марок, – в общем, все то же самое, что и везде, что и всегда. Но в его случае еще и более лютее, какое-то избыточное, гипертрофированное. Вкупе с такими же избыточными и гипертрофированными застенчивостью, закомплексованностью вызывающее у окружающих приступы неприятия, неловкости, иногда даже и агрессии; искренность, искательность только усиливали эффект.

Совсем неглупый и достаточно зрелый нравственно и интеллектуально, остро и точно Женька чувствовал свою чужеродность, ненужность; на дразги пубертатной рефлексии накадывались благоприобретенные (спасибо книжкам!) фантазии, стремление к лидерству. Все смешалось диссоциативной кашей, социализация, приобретение друзей превратилась в идею фикс, точку приложения всех абсолютно усилий и устремлений; стиснув зубы, очертя голову, он пустился во все тяжкие – записался в секцию дзюдо.

Но и дзюдо мало помогло, первоначальный энтузиазм быстро сменился апатией, – ему явно не хватало жесткости, напора и, самое главное – смелости. Он отчаянно трусил еще до схватки, сама мысль о противоборстве вызывала тоску и панику; раз за разом, опустив глаза, уходил он с татами. И не действовало ничего, ни задушевные монологи тренера, ни презрение мальчишек, ни сочувственное молчание домашних.

Так что, на поездку в пионерский лагерь юный Женя Ленский возлагал большие надежды – милосердная судьба дает ему еще один шанс, шанс начать освоение мира заново. Тем горше предстояло разочарование; глупый, маленький дурачок, у него не было этого шанса. У него, вообще, не было ни единого – в мальчишеской иерархии ему отводилось одно из самых низших мест; взявшаяся откуда-то и приклеившаяся кличка «крыса», будто пригвоздила к позорному столбу, подчеркивала глубину падения – рослый и синеглазый Женька никак не походил на это мерзкое животное.

Понятно, с таким background'ом нечего было и мечтать о девчонках; единственная его надежда Ленка Грушкова, знакомая по музыкальной школе и, таким образом, как бы демпфирующая настоящее прошлым, вначале, вроде бы, и отнеслась с благосклонностью, но затем, все-таки, отдала предпочтение Сереге Бегунову, одному из «волков» и любимчиков Львовичей.

В глазах Женьки Бегунов был просто грубым, неотесанным хамом, ничтожеством, однако, он не мог не признать, что в сравнении с ним, жалкой «крысой» и откровенным неудачником, его соперник выглядел, по меньшей мере, суперменом. Шумный, уверенный в себе, вечно окруженный приятелями, он был настоящим антиподом Женьки; поговаривали, что он даже ходил ночью на Черное озеро и купался в нем! – только и оставалось завидовать, списывать все на вранье и хвастовство. Потому, что ему, Женьке Ленскому, такой подвиг оказался не под силу.

Черное озеро – заболоченное лесное озеро, расположенное в дальней дубовой роще и окруженное ворохом всяческих страшилок (однажды черный-черный человек, из черного-черного озера) и баек, что-то вроде туземно-пионерского фольклора. Так, одна из них гласила, что человек, искупавшийся в нем в полночь, якобы, приобретет неслыханную силу и храбрость; венки же лилий из него, якобы, гарантировал бешеный успех в любви.

Женька бывал на этом Черном озере – ничего особенного, лужа и лужа. Ну да, черная из-за илистого дна, грязная, вся истоптанная по берегу копытами колхозных коров, и на сто метров вокруг усеянная засохшими их блинами и смердящая испражнениями, – неизвестно еще, с чем предлагается бороться – с брезгливостью или страхом; только и оставалось, что оттоптаться над глупостью и невежеством придумавших весь этот бред. И, конечно же, полночь, и, конечно же, лилии, и, сюда же еще и любовь – простите, но как-то не вяжется все это с блинами и зловонием!

И, все-таки (о, эта инерция романтизма, коллективного бессознательного!), что-то неясное, ассоциативно-непроговоренное отложилось, засело смутной занозой – а вдруг, а? Ведь проходят шашки в дамки, а пешки в ферзи? – вот так вот раз и готово! Вот так был ты недотепой, неудачником, а потом – раз, и все! и дотепа, и удачник! Нет, ну а почему нет? Ведь есть же что-то такое, «неподвластное нашим мудрецам»!.. Мысли вились, складывались ажурно-радужными разводами, терзали сомнениями и надеждами, то самое неясное, непроговоренное оформилось планами, намерением – в конце концов, романтик победил скептика,

Луна – Солнце: почему нет! Он выбрал день (ночь), подготовил фонарик, спички, пару кусков хлеба и плавки – будь что будет, мужчина он или кто!

Впрочем, как только стемнело, решимость как-то сама собой стала съеживаться, и съеживалась до тех пор, пока не улетучилась совсем. Женька представил себе ночной лес, крошечную тьму, безлюдье, непролазную чащу, представил и ужаснулся. А вдруг там леший? нечистая сила?! Нет, ну ерунда, ерунда, разумеется – нет никаких леших! – но страх уже развернулся, уже вязал быстрыми коготочками паутинку отнекиваний, оправданий – и в самом деле! ну что за глупость! Идти куда-то ночью! лезть в холодную, вонючую воду!

И он не пошел. Ни в эту ночь, ни в следующую. Можно было бы и вовсе забыть об этой глупой затее, записав на счет очередной амбициозной блажи, однако, совесть и надежда не давали покоя, воображение рисовало ошарашенные глаза Бегунова и остальных, изумленные Ленки Грушковой, принимающей букет из лилий – вот же черт! ради этого можно было бы и! – разошедшееся воображение продолжало рисовать прочие, не менее соблазнительные картины, и Женька решил – будь, что будет! сегодня или или никогда!

Но случилась эта история с ужом, и ни о каком уже Черном озере и речи идти не может, теперь предел его релокаций – заброшенная полянка и упавшая сосна, предел мечтаний – одиночество и тишина. Чтобы не было никого, чтобы можно было спокойно все обдумать. Хотя, о чем тут думать? что еще может быть неясно? Он – «рыжий», неудачник, вот как эта самая сосна, на которой он сидит. И он, и она – жертвы какой-то злой и непонятной причуды судьбы, выбравшей в огромном множестве вариантов именно их. Интересно, какими принципами она руководствовалась? – ведь вот, рядом много других деревьев, сухих, умирающих, но стихия почему-то выбрала именно это, молодое и полное жизни; а он? чем он заслужил такую «честь»? Чем лучше Бегунов? Или Каменев? Но у них есть друзья, им живется легко, интересно. И нечего рассуждать о карме, о разнице в интеллектах и темпераментах, а сказка о гадком утенке – просто сказка, анахронизм, место которому – в прошлом, в пронафталиненных, поросшим мхом архивах...

А ему только и остается – сидеть и думать, и гадать – что там впереди? чем еще его «наградят-пожалуют»? Нет! ну ведь по всем законам жизни, вероятности – ну, ведь не может же все быть постоянно плохо! черная полоса всегда сменяется – должна сменяться, во всяком случае! – белой! Так, может, и судьба – в конце концов, смилостивится, пошлет удачу, успех? Или, все-таки, забить-забыть-запить, смириться? – типа, что подделаешь, карма такая, повалиться и лежать разбитой сосной на холодной и унылой дороге жизни?..

Здесь сон делает кульбит и Ленский снова оказывается на узенькой тропинке, уходящей вглубь прибрежных зарослей. Вслед за тропинкой в сон вторгается небо, высокое, раскаленное до белизны, миллионы звуков, густая, одуряющая истома лета. Словно ветер времени вернул детство, и снова, как когда-то – сладость разомлевших цветов, терпкий аромат ежевики, едва уловимой речной свежести. Зрение, внезапно ставшее панорамным, дарит этот день во всем его июльском великолепии: грациозные сосны, застывшие зелеными кронами в знойном струйчатом мареве, широкое раздолье луга с инкрустациями красавцев дубов, пара буслов, фарфоровыми статуэтками замерших вдалеке...

Но тут пауза срывается действием, инерция сюжета тянет дальше, вперед – надо бежать, надо нырнуть вслед за Вовкой! Надо, но ноги тяжелеют, будто прирастают к земле, страх скывывает, подчиняет, обездвиживает – он не пойдет! не пойдет! Повсюду, на каждом шагу – змеи! Ему уже пообещали, что именно так и его накажут – бросят в лицо ужа, и он знает: «эти», «они» выполнят свое обещание – таковы правила! таков закон их подлого бандитского мира! При одной только мысли об этом ужас, отвращение душат, подступают тошнотой, и хочется вырваться, убежать, хочется спрятаться где-нибудь далеко-далеко, где-нибудь там, где наверняка не бывает, не может быть никаких змей! И хуже всего – то, что – да! да! эти мизерабли, эти ничтожества угадали, вычленили из всех его страхов самый большой, самый жуткий,

и поняли – он им позволил! сам! – бинго! О, Господи! кто бы знал, как он ненавидит всех их! Всю эту шуштуру, дрянь, всех этих клоунов, ломающих из себя великих умников и мафиозо – его едва не вырвало, когда вчера Сашка Михаленко по кличке Гога и Олег Холодов, приказавший всем называть себя Холод, оба «волки», оба любимчики Львовичей, подчеркнуто серьезными и громкими (ну, клоуны же! клоуны! мизерабли!) голосами рассказывали друг другу, что именно в таких местах и водятся змеи; вообще, эти места так и называются – змеиные. Так что, повезло еще, что Камню (Вовке Каменеву) попался уж – с таким же успехом это могла бы быть и гадюка, а уж тогда кому-то – ох! (глумливо-дебильные ухмылочки, плотоядные гримаски) – пришлось бы несладко...

«Там их тьма-тьмушая, кишмя кишат!», – кричал один другому, вроде бы, как и не замечая Женьку. – «И любят, гады, взбираться на ежевичные кусты – ни за что от ветки не отличишь!» – вторил ему другой. – «Вот в прошлом году так один парень и скопырвился! Шел себе, бедняга, рыбу ловить, задел куст, а на нем – змеюка. Ну, она его и цап его за шею, он – и в аут; так коньки и откинул, скорой не дождавшись. Шея распухла, дышать не смог, задохнулся у друзей на руках».

Наверно надо было встать и уйти, но Женька зачем-то слушал. Слушал, слушал и фантазия изображала услышанное, раскрашивала, озвучивала, живописала. Вот юноша, почему-то очень похожий на него, беззаботно напевающий что-то себе под нос, идет по тропинке, очень похожей на ту, что они прорубили в зарослях. Идет себе идет, задевает куст, и куст вдруг оживает, и одна из ветвей, неестественно толстая, гибко упругая, обнажает два длинных смертельных клыка и бросается на него. Один бросок, другой... Парень роняет удочки и медленно, спотыкаясь, как слепой, бредет вперед, лицо его искажено гримасой ужаса и боли. Каждый шаг дается ему с трудом, он выходит на берег и падает на песок, прижимая руки к ране, не в силах произнести ни слова. Друзья бросаются к нему, тормозят, пытаются помочь, но все тщетно, глаза их друга медленно закатываются. Шея его безобразно распухла и посинела, он дышит неровно и со свистом, все реже и реже; затем следует короткая агония, и бездыханное тело остается лежать на вмиг обезлюдевшем пляже. И только вода тихо плещется о берег, и только ветер треплет безвольные пряди его волос...

Эта картина преследует Женьку до сих пор, воображение нарисовало ему все это гораздо красочнее, чем рассказывали Гога и Холод, хотя тогда, в корпусе, он и вида не подал, что даже слушает этих дураков. Вот уж повезло – богатое воображение! какая ему от этого польза! Именно из-за этого он и не может сейчас спуститься на пляж!

Сердце готово выпрыгнуть из груди, пот струйками по спине. В конце концов, мужчина он или нет?!

Женька сжал зубы и постепенно, шаг за шагом, прошел вглубь. Солнце почти спряталось, узенькая тропинка теряется под ногами, – так, поднять руки, вытянуться, сделаться тоненьким-тоненьким, как хворостинка, как прутик лозы, и прозрачным, и невесомым, как перышко, и шаг за шагом, шаг за шагом – туда, вглубь, дальше, вперед, навстречу проблескивающему сквозь листву апельсиново-розовому, голосам. Очень хочется закрыть глаза, но так можно оступиться, задеть какую-нибудь ветку – страх уходит в ноги, в пятки, прорывается вибрациями, готовыми перейти в конвульсии, – вот! наконец-то! последняя приступка, последний поворот, брызги света, победа! О, Господи! победа!..

Заметив его, вчерашние приятели что-то кричат, но ветер стирает, уносит их слова. А может, сон шадит его перед другим, на этот раз по-настоящему смертельным, испытанием?

Женька сбросил одежду и не спеша, притворяясь, что не больно-то и хотел, заходит в воду. Она здесь прозрачная, кристально чистая, со стайками мальков вдоль берега, и темнеющая зеленью дальше, на глубине.

Он заплыл на середину, подальше от всех, лег на спину. Очень удобно, если устанешь, можно лежать без движения, хоть час, хоть два. Но он не устал, просто здесь хорошо, лучше,

чем на берегу. Прямо над ним пушистые низкие – кажется, руку протяни и достанешь – облака, лимонно диск Солнца в прозрачной необъятной синеве. Впрочем, синева уже не такая и прозрачная, все больше и больше наливается мутью, тяжестью; Женька приподнял голову над водой, осмотрелся. Ага, и облака – сгустились-уплотнились, кучкуются тучками, и пропали куда-то вездесущие ласточки, – гроза? будет гроза? – память немедленно отреагировала песенкой охотника из «Красной шапочки»: «...как говорить, быть беде...».

Он вышел на берег, сел на полотенце. Стало ощутимо прохладнее, песок уже не жег пятки, как пару минут назад. Женька зачерпнул его в ладонь, смотрел, как тонкая струйка уносится ветром – последние его минуты, незримый меридиан, разделяющий жизнь на «до» и «после».

С дальней части пляжа доносились возбужденные крики, – Олег Львович выдернул из воды узкую, бьющуюся на солнце серебристым лезвием, рыбу. Везет же! Женьке всегда нравилась рыбалка, но больше всего он хотел бы ловить рыбу вот так, на спиннинг – чем-то напоминает поединок мирмиллона и ретиария, пусть, увы, и приземленных, буквализированных действительностью. Вот бы хоть разок попробовать, забросить спиннинг! – он знал – попроси он сейчас Львович, тот не отказал бы, но при одной мысли поднимается в душе горькое, горячее – ну, уж нет, только не после вчерашнего! После вчерашнего... Что? что после вчерашнего?

Песок с ладони начало срывать, и Женька встрепенулся, оглянулся по сторонам. День померк. Блики на воде побледнели, облака налились свинцом, листва тревожно билась на ветру.

Подбежал Олег Львович, отворачиваясь от песка, летящего в глаза, закричал:

– Что ж ты сидишь?! Не видишь – ураган! Собирайся быстро!

Женька в два счета оделся, едва успев спасти полотенце, согнувшись, словно под обстрелом, побежал за всеми. Проход он преодолел почти бегом, подталкиваемый в спину железными руками воспитателя, и даже не заметил, как оказался на лугу.

Теперь небо уже все было угрюмого, грифельного цвета, луг тоже потемнел и, словно уменьшился.

– Ну, сейчас даст! – восхищенно и зло прокричал Олег Львович. – Вот же, блин! Метео, говнюки! Хоть бы предупредили! Все за мной, – скомандовал он. – Вот по этой тропинке, нога в ногу, бегом марш!

Мальчишки побежали, и Женька, конечно же, оказался замыкающим. Впрочем, так было даже лучше – ведомым быть всегда легче.

Где-то совсем близко – ощущение такое, что прямо внутри головы – раскатился гром, и сразу же, будто кран открыли, хлынул дождь, и Женька промок вмиг, за секунду. Фигура бегущего перед ним, как-то странно вильнула, метнулась в сторону, протерев глаза, он увидел всю компанию под дубом, похожим сейчас на огромный зеленый зонтик, раскрытый на спицах ветвей. Все кричали ему что-то, призывно жестикулируя, но обида, злость развернули в обратную сторону, к такому же дубу, по другую сторону тропинки; почему-то вспомнились бабушкино выражение: «Велика честь!». Ни за что, никогда в жизни не станет он для этих людей товарищем, пусть даже и по несчастью!

Он ворвался в круг, очерченный куполом листвы, сел, прижался спиной к толстому стволу. Сверху ослепительно и грозно полыхнуло – ага! вот и гроза! Вот и хорошо! Вот и славно! – какой замечательный и поучительный финал – его убьет молнией! А что? Лучше уж стать жертвой несчастного случая, чем влачить жалкое существование труса и неудачника! Зачем притворяться? Ничего не выйдет у него со спортом, никогда не будет у него друзей, и девушки у него тоже не будет! Потому что он – трус! Потому что никогда не осмелится искупаться в Черном озере или, хотя бы, даже просто постоять за себя!..

Женька представил, как его хоронят, такого юного, такого красивого – гроб усыпан цветами и венками, и все рыдают; рыдает бабушка, родители, Ленка Грушкова, тренер и даже

Львовичи – он представил все это так явственно, так убедительно, так стало жаль себя и всех, всех – слезы хлынули в два ручья.

Он плакал, громко всхлипывая, размазывал по лицу слезы вперемешку с дождем – он самый несчастный, самым пропащий человек на свете! Зачем, для чего он здесь? Не лучше ли было ему, вообще, не рождаться?

А потом случилось страшное. Мир раскололся надвое, и, неведомо откуда взявшийся ярко-синий свет, ринулся в образовавшуюся трещину, поглотил и скомкал и дождь, и небо, и день, и какая-то нечеловеческая сила схватила и взметнула невесомой пушинкой высоко-высоко, прямо в небо – на мгновение показалось, что он растворился в этой мощи, сам стал ею, каждой ее частичкой, каждым атомом; лавина вселилия, восторга, счастья захватила, переполнила, но все это длилось недолго, лишь доли секунды, и уже в следующий миг рядом, близко-близко от себя Женька увидел бледное, перекошенное страхом лицо Олега Львовича.

– Живой? – почти простонал воспитатель, и тень надежды плеснулась в навывкате, с желтоватыми белками глаз. – Живой! – выдохнул он в лицо Ленскому и откинулся назад, вытирая со лба, не то пот, не то дождь. – А ну-ка, ребята, давайте на руках его отсюда! Быстро! – скомандовал он, и Женька почувствовал, как несколько рук подхватили, понесли.

– Под деревьями не останавливаться! – кричал сзади Львович. – Неси под навес.

До навеса, ветхого строения, неизвестно кем и когда поставленного на лугу, было добрых метров пятьсот, и все время, пока его несли, Ленский пытался сообразить, что же произошло.

Он ровным счетом ничего не мог вспомнить, кроме стены дождя, синей вспышки, черной, дымящейся под дождем дорожки выжженной травы. И – всё. Молния? Вот удивительно, стоило только ему подумать о ней – и вот она! Но тогда, почему он жив?

Запахавшиеся, мокрые до нитки, мальчишки внесли его под навес. Следом за ними, почему-то украдкой, осматриваясь на ходу, вбежал Олег Львович. Он присел перед Женькой, положил ему под голову полотенце.

– Цел? – глаза его лихорадочно блуждали. – Как чувствуешь себя?

Женька не шевелился, молчал, в упор разглядывая недавнего небожителя. Странно, только сейчас стало заметно, какие мелкие, невыразительные у него черты лица. Густые черные брови над сидящими глубоко, неопределенного цвета маленькими глазками, утиный нос, съезжающий на отвисшую нижнюю губу, дерганые, суетливые движения. Во взгляде – приторное, суетливое подобострастие, пальцы с панцирными желтыми ногтями, мелко подрагивают – противно! Как он мог раньше не замечать всего этого?

Кроме того, от небожителя пахло немывтым телом и перегаром, с проснувшейся внезапно брезгливостью, Женька отбросил его руки от себя.

Заискивающая улыбка раздвинула губы воспитателя.

– Ну, слава Богу, двигаешься. А мы уж подумали! Фу-у... Знаешь, как мы испугались?

Ленского окружили мальчишки, наперебой кричащие о молнии, расколовшей дуб, под которым он прятался, о какой-то синей дуге, прошедшей по Ленскому.

– Как гильотиной, – кривя губы, выговорил Олег Львович. Ему явно не нравился энтузиазм подопечных. – Идти-то самостоятельно сможешь? – скорее попросил, чем спросил он.

Женька встал, покрутил головой, пару раз присел.

– Вот и ладошки, – буркнул свое любимое окончательное пришедший в себя педагог, и вся группа, будто ничего и не случилось, быстро зашагала к лагерю.

Известие о происшествии распространилось по отряду с быстротой, заимствованной у той самой молнии, и Женька впервые в жизни испробовал сладкое бремя славы. Мальчишки считали своим долгом ощупать его и хлопнуть по спине, девчонки строили глазки и хихикали. Даже Ленка Грушкова снизошла с пьедестала первой красавицы, и он, конечно, сразу растаял, рассказал придуманную на ходу, совершенно фантастическую историю. Ленка ахала, охала, прижимала ладошки к щекам, заставляя сладко замирать сердце.

Издали он видел злое лицо Бегунова, но понимал, что сейчас тот не осмелится на выяснение отношений, а что будет завтра, почему-то не волновало. От слова совсем – вот будет завтра, тогда и посмотрим. Нет, все-таки, в популярности есть свои плюсы!

Ночью Женька внезапно проснулся. Он всегда спал очень чутко, не раз это спасало от диверсантов, энтузиастов художественного перфоманса, норовящих измазать зубной пастой или краской. И сейчас, в первый момент он подумал, что снова происходит что-нибудь в этом роде, и уже приготовился к отпору, но вокруг было тихо. Даже как-то очень, можно даже сказать, необычно тихо. Свет фонаря беззвучно струился сквозь окно, играл на металлических спинках кроватей, репьях облупившейся краски на дощатом полу, – если не диверсия, то что?

Он сел на кровати и сразу все понял – это сон! это все ему снится! Невозможно представить, чтобы наяву тело двигалось так легко, казалось, стоит оттолкнуться посильнее, и он взлетит!

Женька сделал несколько шагов и даже рассмеялся – как хорошо! как вольно ему сейчас! И, вообще, сон этот какой-то чудной, совсем не такой, как обычно. Те, всегдашние, подчиняли, вели в коридоре навязанного сюжета, а этот – наоборот, открывал двери, предлагал свободу действий. Придумывай, выбирай, делай, что хочешь!

Голова закружилась в калейдоскопе желаний; одна мысль сразу оттеснила остальные: Черное озеро! Надо пойти туда и искупаться! Женька напрягся, ожидая обычного в таких случаях страха, но страха не было. И в самом деле, откуда ему взяться! – ведь, это же сон!

Он быстро оделся и выбежал из корпуса. Лагерь был похож на заброшенное поселение из фильмов про ядерный постапокалипсис – ни звука, ни движения, только высветятся потухшими спичками фонари, тускло мерцают стекла. «Хороший сон!» – еще раз подумал Женька, оглядываясь вокруг – уж больно не хотелось попадаться на глаза кому-нибудь, пусть даже и во сне. Он взглянул на часы – половина двенадцатого! надо спешить! Ведь весь фокус в том, чтобы искупаться непременно в полночь! Интересно, а в полночь надо в воду именно зайти или можно залезть в нее заранее? – мысли скакали солнечными зайчиками, точно с такой же легкостью давалась и дорога. В доли секунды Женька оказался за пределами лагеря, стволы деревьев, полянки, кусты слились в стремительном, упоительном мельтешении; еще один рывок, еще одно ускорение, и вот! наконец-то! – Черное озеро! Ух ты! – еще один сюрприз – сейчас оно совсем не похоже то, что он видел раньше, днем, это уже совсем другое озеро! Будто плафон торшера сверху – неведомо как и откуда взявшийся купол серебристого света, зеркальная, без единой морщинки, гладь воды, в центре, словно танцуя, кружатся хороводом ярко-белые, крупные, грациозные лилии. Лилии! Любовь! Лена! Женька моментально сбросил одежду, поднял ногу, примериваясь ступить в воду, и замер от ужаса – весь берег просто кишмя кишит змеями! повсюду, куда не брось взгляд – змеи! В преломлениях серебряного света ясно различимы узоры на масляных тугих спинах, крохотные злобные глазки, отвратительные раздвоенные языки, – он так и застыл с поднятой ногой, страх сковал, обездвижил, парализовал.

Тянутся, падают тягучими каплями секунды, наполняя чашу волшебной полночи, еще немного – и все будет напрасно. И побег из лагеря, и сумасшедшее отчаяние скорости, и даже почему-то – удар молнии. Внезапный порыв решимости вдруг захлестывает, подчиняет, стиснув зубы, сжав кулаки – будь что будет! – Женька ставит ногу прямо на змеиные спины, головы, зубы, страшно и хищно оскаленные, готовые впиться, вцепиться, прокусить, уже чувствует боль от этих укусов, но тут происходит невероятное. Купол света приподнимается, раздвигая границы, захватывает Женьку в свой круг, и в ту же секунду все вокруг преображается. Приходит, прилетает откуда-то негромкая, неторопливая мелодия, плывет, ласкает слух, и неожиданно, против воли, Женька начинает двигаться вслед за ней, начинает исполнять движения какого-то диковинного, незнакомого танца. Танца, ритма в котором не существует, как не существует его в шуме ветра, в морском прибое, в мелодии факира; волшебные звуки заставляют забыть обо всем, довериться, отдаться. Этим чудесным вибрациям нежности, сладостным

предвестникам нирваны. И исчезает все, исчезает он сам, остается лишь эта необыкновенная, чарующая музыка, музыка и свет, свет и музыка, – они выются рядом, переплетаются, повторяются, так, что уже и не разобрать, где кончается звук и начинается зрение, – и Женька вдруг понимает, что эти змеи под ногами – совсем не страшные и неопасные, они такие же живые существа, как и он, безобидные, добрые, они точно также хотят счастья. Да, счастья! Счастья!

И он видит их голоса, слышит их прикосновения; змеи обвивают его, их становится все больше, больше, и Женька плывет, скользит вместе с ними в этом прекрасном головокружительном половодье, глотает эти чудесные алмазные капли. И лилии уже не прячутся, ласкаясь, кружась, влекут за собой. Несколько цветков соединяются в венок, ложатся Женьке на голову, и тотчас же неведомая сила возносит его наверх, туда, где небом венчается купол, и он видит озеро сверху, и оно приветствует его тысячами змеиных голов.

И тут неожиданная грусть туманит сердце. Незримые стрелки завершают свой бег, безжалостно усекая круг циферблата – даже самые прекрасные сны когда-нибудь заканчиваются, все когда-нибудь заканчивается...

«Прощайте!» – кричит он всем сверху, и в ответ озеро отзывается тихим, трогательным всплеском. Мелодия в последний раз шелестит рядом, ее эхо, постепенно истончаясь, растворяется в прозрачной утренней дымке.

Усталые звезды бледнеют в небе, уже подернутом красками рассвета, новые звуки, новые чувства и мысли наполняют мир. Сон тает, оставляя после себя светлую и добрую горечь, хлопья горячей, пронзительной нежности, и предчувствие огромного, ни с чем не сравнимого счастья охватывает Женю.

ГЛАВА 2

В холодных алебастровых лучах наружного освещения Ленский рассмотрел даже паутинку царапин, россыпь брызг на отполированном глянце капотов двух больших, черных машин у входа. Минутное ожидание, и двери почти синхронно отворились, выпуская из глубины салонов несколько фигур, немедленно сбившихся в темную однородную массу, наэлектризованную нервным беззвучным разговором. Облачка дыханий, немо открывающиеся рты, жесты, – из теплой просмотровой все казалось галлюцинацией, оцифрованным черно-белым кино с изъятой звуковой дорожкой.

– Дома не наговорились, – процедил сидящий рядом Силич. – Клоуны! – добавил он презрительно, и Ленский немедленно взвился: «Ага, клоуны! Конечно, хорошо тебе говорить – встречаться-то с ними не тебе!».

Впрочем, он тут же одернул себя – что за настроения? Каждый на своем месте, выполняет свою часть работы, и Слава Силич выполняет свою блестяще. И вообще, невозможно себе представить проект без него, не хочется даже и думать, что на его месте может быть кто-нибудь другой.

Ленский оторвал взгляд от монитора.

– Слав, проследи, чтобы диалог их не потерялся. Что-то уж больно эмоционалят, ребята...

Не поворачиваясь, Силич досадливо пробубнил:

– Надо оно тебе? Бабки делят стопудово. Впрочем, – он бросил ироничный взгляд на Ленского, – любой каприз, ваша светлость.

Он хотел добавить что-то еще, но тут от группы отделились две фигуры, зашагали к входу, и Силич вмиг подобрался. Коротко и рублено заговорил в микрофон, в коридоре послышалось движение, дверь распахнулась, обозначив в проеме силуэт дежурного.

– Ну что? ты как? Готов? – Силич повернулся к Ленскому всем корпусом. – Как настроение?

– А если плохое, что это меняет? – Ленский улыбнулся в ответ, считывая в серо-голубом сканере взгляда бегущую строку экспресс анализа – шутка? слабость? проблема? Вслед – алгоритмы решений, путей выхода-отхода на все случаи жизни; эх! неинтересный вы человек, полковник Вячеслав Николаевич Силич, скучный и предсказуемый. Хотя, что поделать, скучность и предсказуемость – именно то, что нужно, свидетельство компетенции и обратная сторона профессионализма.

Строка иссякла, сканер схлопнулся, не найдя ничего, что могло бы послужить поводом для беспокойства.

– Разговорчики, – буркнул Силич, отворачиваясь, снова погружаясь в мир электронных голосов и изображений.

Ленский вздохнул, поднялся, хрустнул, разминая, пальцами. «Вот если бы потянуть один какой-нибудь», – подумал он, с любопытством, будто впервые в жизни, увидев собственные руки, – «вот это была бы история! Шеф точно бы свихнулся». В воображении немедленно возникла картинка: машина скорой помощи, пропадающая за поворотом и лицо шефа, страдальчески сплющенное о заднее стекло. Смешно.

– Ну, я пошел? – Ленский вопросительно посмотрел на широкую спину Силича; не оборачиваясь, не сделав даже попытки взглянуть на него, тот дернул плечом:

– Счастливо!

Ну что ж. Все как всегда. Так и надо. Ничто не должно нарушать ритуал.

Ленский толкнул дверь, вышел в прохладную темноту коридора. Интересно, какая по счету сегодняшняя игра? За много лет он уже успел сбиться со счета.

А когда-то, в самом начале, он этот счет вел, вел даже что-то вроде дневника, исследовательско-свидетельских хроник. Но прошло время, притупились новизна и острота, на смену пришла – кто бы мог подумать, да? – хандра, вялое и хмурое безразличие. Так, наверно, бывает у циркача, в течение многих лет, день за днем, сующего голову в пасть крокодила – все отлажено, отработано, рутина и отбывание номера. И никаких тебе драматизмов, и никаких истерик-романтик – пришел, исполнил, ушел; всем спасибо, крокодилу – бублик. Правда, в отличие от циркача, у него каждый раз крокодилы разные, разные и незнакомые, хотя, с другой стороны, ну какие же это крокодилы – милые и приятные люди, вполне себе добропорядочные и респектабельные; всех, не желающих отвечать этим критериям, тот же Слава Силич отстреливает еще на подходе. Так что, не грозит ему ничего, серьезнее вывиха пальца (бедный шеф!), и, вообще, в этой системе координат все перелицовано, подменено метафорами и суррогатами, гильотинирование здесь – всего-то проигрыш. Проигрыш! Подумаешь! всего какая-то минутка неловкости, стыда, досады, – чепуха по сравнению с крокодилом! Опять же, все – в рамках приличий и протоколов, клиенты – народ тертый, битый, никто и подумать не посмеет дать волю эмоциям, – подписи в ведомости, обмен улыбками и авторучками, и все, finita, занавес; каждый убывает в свое восояси. И непонятно, отчего он этого так боится? Ах, победная серия? развенчание-разочарование? Да и фиг с ним! Все когда-нибудь заканчивается, короли тоже рождаются, чтобы умереть, а уход непобежденным – абсолютная чепуха, миф. Потому что уход, сознательный ли, насильственный – уже само по себе поражение, и бессилие что-либо изменить лишь подчеркивает закономерность случившегося; смерть гипотетическая неизбежна точно так же, как и физическая. Тогда отчего ж тогда так хреново, чего ж тогда так колбасит? Ведь эта тревога, эта распутица душевная, дрызги – это интуиция! ее, ее работа! – функционирует, бдит – ее не обманешь! И номер игры зачем-то понадобился, и сон в руку, и маска вот – казалось бы! – и та сегодня какая-то не такая, будто чужая, не по размеру, давит-жмет-протекает!..

Ленский повертел в руках ставший вдруг ненавистным кусок материи, мысленно закатил себе оплеуху. Да что с тобой такое сегодня? Соберись, в конце концов! Впереди – заурядная, проходная игра! С каким-то очередным уездным жуликом, депутатом от Урюпинского филиала шахер-махерской федерации, делегированном по профсоюзной разнарядке в Москву. На игру с самим Маэстро, с тем самым, про которого мифы и легенды, который и сам – миф и легенда, кумир и небожитель. С которым уже сидеть за одним столом – признание и привилегия, неизмеримый и неразменный капитал, легко конвертируемый во вторичную популярность и довольно безбедное существование. Которое – между прочим! к слову говоря! все в этом мире взаимообусловлено и взаимосвязано! – обеспечивает это самое безбедное существование и самому Маэстро! Так что, давай! Шире шаг и выше нос, трудно только первую тысячу лет! И мало ли чего там привиделось-придумалось, разные детские комплексы-страхи, ты давным-давно уже вырос из этих штанишек. Ты давным-давно уже Маэстро, дружок...

А вообще, это все – погода. Уходит зима, еще недавно большая и сильная, а теперь мокрая, растерянная, жалкая. Завывающая по ночам в подворотнях последними ветрами, гоняющая куцые облака в черном безлунном небе. Да-да, это такая сезонная ипохондрия, психосоматический вирус, – вот так вот зазеваешься, раз и все, и готово дело – ты уже инфицирован, по уши в меланхолии и фрустрации, сентиментально-ностальгических соплях. Одно утешение – проходит все так же внезапно, как и приходит – однажды утром просыпаешься и вдруг понимаешь, что ничего нет, будто и не было, ты снова здоров и свободен. Так что, ничего страшного, пройдет и в этот раз, надо просто пережить.

Так, ладно. Еще раз проверить маску, поправить галстук, элегантно щелчком сбить невидимую пылинку с лацкана и, что-то мурлыча под нос, надев на лицо (маска – натальное продолжение) гримаску всемдовольности, через крохотный темный предбанничек – в игровую.

Здесь тоже все знакомо и привычно: стол на возвышении, фигурные спинки стульев, конус света от лампы – ничего лишнего, все просто и функционально. И все продумано, и все предусмотрено, – ну просто верх совершенства, храм игры. И образцово-показательный экземпляр мышеловки, – нет, ну а что вы хотели? когда это азарт (сыр) был бесплатным?

А вообще – Господи! как же давно все это было! Дротик, брошенный в криминальный улей, в нерв самолюбия, артерию алчности, яд, пущенный по агентурно-филерским венам: некий Маэстро приглашает всех желающих, честный поединок, конфиденциальность, призовой фонд. Дротик был выпущен метко и со знанием дела, попал точно в цель, яд брызнул, побежал в кровь: как ни крути, а – вызов, хочешь не хочешь, – надо отвечать, соответствовать! С одной стороны – неплохо было бы и наказать наглеца (Маэстро выискался, надо же!), с другой – как бы в крокодил не попасть; делегации, одна за другой, потянулись, как туристы в Мавзолей. Дня не проходило, чтобы кто-нибудь из целевой аудитории не наведалься, не порыскал взглядом, не поводил носом, ощупывая, обнюхивая, обшаривая сантиметр за сантиметром. Полы, потолки, стены. В поисках подвоха, хоть чего-нибудь пусть даже мало-мальски подзрительного, дающего индульгенцию перед общественным мнением и собственной алчностью; и как назло – ничего! Ни одной мелочи, ни одного предложения, а яд действует, ранка ноет, кровоточит!

А тут еще одно, еще одна заноза, щепоть соли – совсем уж из разряда фантастики, под дых! – Маэстро этот, оказывается, отказывается жульничать! напроць, от слова совсем! Готов играть как лох и чуть ли не голым, из всей одежды оставив лишь маску! И заявляет об этом во всеуслышание, официально – нет, ей-богу! это уж совсем из ряда вон! это уж слишком! Как хотите, а надо наказать фраера! Шулерское сообщество ощетинилось, сплотилось и приняло вызов. Следующим шагом эволюции отношений стало появление «пробного шара», невысокого, похожего на жука, человечка с идеальным пробором и неуловимыми антрацитовыми глазками. Он привел с собой целую группу коллег (секундантов), в очередной раз дотошно осмотревших «катран», и всю игру не спускавших с Маэстро глаз.

Они не скрывали своей уверенности в победе, не стесняясь, шумели, дурачились, посылали Маэстро плотоядные улыбки, впрочем, довольно скоро потухшие – антрацитовый пробор проигрался в пух и прах.

На некоторое время в шулерских кругах воцарилось затишье. Уважаемые, маститые мэтры, авторитеты туза в рукаве и заряженной колоды восприняли (и совершенно справедливо) произошедшее как шелчок по носу, – было очевидно: пауза взята лишь для того, чтобы как следует обдумать план мести, жестко и показательно «наказать фраеров».

Теперь в бой пошла тяжелая артиллерия. За первые пару месяцев их посетителями стали не менее десятка самых матерых «исполнителей», в перерывах между играми их (Маэстро и компанию) «прощупывали» на самых разных уровнях вплоть до министерских-правительственных; иногда казалось, что следующий звонок должен быть, как минимум, из Администрации Президента.

Но как бы ни обстояли дела в сферах политических, игры заканчивались с неизменным результатом – соперники Маэстро раз за разом проигрывали, проигрывали самым необъяснимым и оттого самым обидным образом. Проигрывали несмотря на собственные порой совершенно откровенные плутни, весь арсенал шулерского рукоблудия, а тот, которого они принимали за простофилю и недоумка, гордо удалялся, унося в клюве еще одну, очередную победу, еще один кирпичик в пьедестал славы и небожительства. Возносящий его прямоиком на картежный Олимп, превращающий заурядную, средней руки гостиницу в престижный клуб, а формат маргинально-криминального поединка – в ритуал инициации и коронации, – теперь любой всякий уважающий себя «катала» должен был пройти эти жернова. Игра с Маэстро стала своего рода аттестатом зрелости, пропуском в мир «больших» карт и высоких ставок – об этом рассказывали со значением и придыханием, этого добивались, об этом мечтали; образ Маэстро

все больше и больше приобретал свойства идола, все больше и больше окутывался флером мистического и иррационального.

Очередь из желающих превысила все мыслимые пределы и продолжала расти; пришлось повисить и без того немаленький рейк, ужесточить «график приема». Немного офешенбиться, завести кухню, бар, официантов. Неизменным оставались лишь несколько пунктов – каждый «соискатель» имеет право лишь на одну игру (не спасали ни поддельные документы, ни пластика), никаких съемок, диктофонов, и – самое главное – лицо Маэстро не должен видеть никто, любая попытка, пусть даже самая невинная, шуточная или даже случайная повлечет смерть. Последнее несколько диссонировало с первоначальными представлениями об устройствах как о безобидных чудачествующих бездельниках, и вызывало веселые и дерзкие сомнения, однако после пропажи одной не в меру ретивой парочки (игрока и секунданта) очень быстро изменилось – что поделаешь, люди в массе своей тупы и легкомысленны, практически всегда требуется прецедент.

Впрочем, все это подверстывалось в раздел «организаторские вопросы» и «разное», на второй план уходили даже вопросы происхождения и возникновения, мотивы и цели этого чертова Маэстро, главным во всей истории оставалось одно – как, за счет чего этот ферт выигрывает. И это при том, что не финтит, мерзавец! от слова совсем! И с точностью до наоборот – финтят они сами: в ход идут и вольты, и передержки, и кражи, и даже (пару раз удалось пронести) крапленые колоды. И все равно, непонятно каким образом, с чего, почему – но получается так, что он – в шоколаде, а они – в дерьме. Растравленная гордость и уязвленное самолюбие рождали гипотезы, одна фантастичнее другой – от феноменальной зрительной памяти и гипноза до ясновидения и телепатии; особенной популярностью пользовалась версия о рентгеновском зрении. Нет, ну а как тогда? Ведь чисто же все! миллиметр за миллиметром облазили-обшарили!

Догадки множились, обрастая слухами и домыслами, не однажды Славе Силичу пришлось разочаровывать «ходовков», предлагающих за секрет «маэстро» довольно кругленькие суммы. Но организаторы были непоколебимы, терпеливы и принципиальны, строго придерживались версии, принятой и озвученной в самом начале: Маэстро – феномен, медиум и земная инкарнация той, что люди называют Фортуной, игра с ним – поединок с ней самой, импровизированный и масштабированный в формат карточной партии.

Впрочем, надо отдать должное устроителям – схема не давала осечек, на вверенной им территории человек ни разу не одолел Бога. Но история, как известно, ничему не учит, а аппетит приходит во время еды – каждому следующему претенденту казалось, что предыдущему просто не повезло, что он сгруппил, сплоховал, струсил, но вот ему-то, в этот-то раз уж точно повезет, уж он-то своего не упустит. Кипели страсти, росли ставки – суммы зачастую пестрели многими нулями, но, в конце концов, что такое деньги, когда на кон поставлено такое? Конечно, довольно паскудно сознавать, что находишься на неправильной стороне истории, но кто он такой, этот хрен с горы, в конце концов! Ах, он херувим-исусик, а мы, значит, суки и твари?! И потом – ну ведь врут, врут, на понта берут, мастырщики дешевые! – ну где это видано, чтоб карты рук не слушались, чудес ведь не бывает!

И только лишь он один, Ленский, он и еще двое посвященных, знают, что скрывается за всей этой фарисейско-Божественной мишурой, только им известна истинная подноготная и цель этих поединков. И только ему одному – их настоящая цена...

Ленский улыбнулся. Вот и снова, как и много лет назад, скоро здесь появится человек, надеющийся выиграть, вытащить счастливый билетик. Глупая пустышка, дурачок! Если бы он знал, сколько таких, как он, повидал за свою жизнь Ленский, сколько надежд изломал он на этом столе; Впрочем, зачем заранее огорчать человека? Кстати, то же самое можно сказать и о самом себе – не надо забывать: пути Господни неисповедимы. Кто может знать свое будущее?

Дверь отворилась, в комнату вошли трое. Один из них был свой, личный телохранитель Ленского, Павел, двое других – гости. Они неловко застыли на пороге, переминаясь с ноги на ногу, удивленно и немного растерянно озираясь. На одном (игроке) тоже была маска, и Ленский почувствовал легкое раздражение: он лишился упражнения в физиономистике – небольшого развлечения, своего рода, разминки перед игрой. Но придаться не к чему, все – в пределах правил: игрок имеет право на маску. Раздражение, однако, не проходило – что ж, тогда «отыграемся» на секунданте – ему-то маска не положена. Итак, кто к нам пришел? Среднего роста, кряжистый, настороженный взгляд, сосредоточенное выражение, скупые движения – «Пахан», – первое, что приходит на ум. Явно тот еще фрукт, скрытный, жесткий, брутальный, как минимум, пару ходок за плечами. Ишь как набычился, буровит взглядом, – явно – главный в этом тандеме. Стоп, если главный, почему тогда играет не он? Впрочем, пусть сами разбираются в своих иерархиях, но уж больно вызывающий, неприятный, дать бы пинка, чтоб в себя пришел. Нет, пинок, пожалуй – слишком, а вот щелчок, скажем, по носу – в самый раз. Ленский мысленно представил себе картину – пальцы, нос, щелчок – «Пахан» подскочил на месте, оглянулся по сторонам. А-а! не нравится? То-то же! будешь знать, как быковать!

Ладно, теперь – к непосредственному контакту, к игроку – поток симпатии, дружелюбия в его сторону. Взъерошить волосы, ткнуть по-приятельски в плечо. Никакой реакции. Э-э, брат, да ты совсем плохой! Зажат, как капустный лист; как же ты играть-то будешь, блефовать? – «исполнителю» нельзя без импровизации. Впрочем, и черт с тобой – баба с возу. Или все это – часть образа? Если да – тебе Оскара давать надо, что ты здесь забыл. Ну, да ладно, в процессе разберемся; скоро, очень скоро не останется никаких загадок.

Он приветливо и звучно (плод тренировок) проговорил:

– Здравствуйте, господа! Рад приветствовать в нашем клубе!

Гости по очереди (первым, разумеется, «пахан») подошли и пожали ему руку.

– Проходите, располагайтесь, прошу вас.

С рассеянным видом, радушно (маска – калька и продолжение) улыбаясь, Ленский наблюдал, как гости рассаживаются по местам: суетливая угодливость (да нет, никакого Оскара, жаль даже) игрока, угрюмая снисходительность «секунданта». Павел сел по правую руку Ленского, напротив «пахана».

– Что будете пить? – Ленский беззастенчиво эксплуатировал (а почему нет?) образ гостеприимного хозяина. – Чай, кофе, сок, крепкие напитки?

Ага, два коньяка (ему и игроку), кофе «Пахану» и обычный в таких случаях апельсиновый сок для Павла – все как всегда, почти как всегда, кроме, разве что, раздражения – раздражение-то не проходит, не проходит, зараза! И не раздражение уже, уже что-то посерьезнее, посильнее – тяжесть какая-то косвенно-безадресная, будто забыл где-то что-то, и это что-то вот-вот выстрелит, полыхнет, взорвется. Может, и не взорвется, может, и все не так страшно, и пронесет, минет чаша, но лучше вспомнить, хорошо бы вспомнить, обязательно, кровь из носа нужно вспомнить! – да что это за напасть сегодня такая! что за хрень на голову!

Мелькнули в памяти умные, с прищуром глаза, белая как лунь, борода, и Ленские едва не застонал. Да что же это такое? Что за день сегодня такой?

Захотелось опрокинуть бокал залпом, закричать, разбить что-нибудь – лишь бы отвлечь, убрать эту ноющую медленную изнуряющую боль, вырвать эту тупую бессмысленную иглу из сердца, – сочтится, вот-вот брызнет кровь, пена выплеснется за края, вот-вот он оступится, упадет – будто из чулана дохнуло пылью, гарью, ветхим, прошлым, качнулись изрзцами далекие слова. Все и всегда делать профессионально... Да, да профессионально – играть, любить, помнить, – он сможет, справится, это просто временная слабость, приступ какой-нибудь там фобии, конечно, он возьмет себя в руки. Еще пару секунд, вдох-выдох – так уже было, он сможет, сумеет, он сильный. Он всегда побеждает. Всех, в том числе и самого себя – он умеет,

он уже много раз так делал, сделает и еще, – один раз научившись, сэкономишь потом уйму времени...

Ленский окинул взглядом гостей.

– Ну что ж, начнем?

Павел и «пахан» вскрыли кейс (каждый знал только половину кода) с картами, достали несколько колод; Ленский настраивался на игру. Черт! «пахан»! Вот же силища! Агрессия так и прет! – навис, будто глыба. Будто гипнотизирует – гнетет, давит, не шевельнуться. Так, ладно, здесь нужен нестандартный подход. Ленский глубоко вздохнул, представил себе лето. Он где-то далеко, за тысячи километров от зимы, Москвы – пляж, удобный шезлонг... Плещется море, солнечные зайчики на волнах... Безумно хочется пить, что-нибудь холодное, освежающее. Какой-нибудь коктейль, только обязательно со льдом. Льда надо много, очень, очень много... Ага, вот и ледник, как кстати! Теперь надо быстро, не задумываясь взять несколько кусочков льда и опустить в бокал. Вот так. Хорошо. Сейчас станет легче. Спокойно, свободно...

Он открыл глаза, зафиксировал ощущение – все, «пахан» ему больше не мешает, во всяком случае, пока. Теперь все внимание – «игроку»; и никаких снисходительностей, потаканий легкомыслию и преуменьшительно-ласкательных степеней-умалений – недооценка врага и все такое. Впрочем, как ни крути – а ничего особенного: обычный провинциальный катала, фон – хилый, бесцветный, руки – ничего не предвещающие, самые заурядные. Хотя не факт, не факт, конечно – вдруг гений перевоплощения, а руки – ну, что руки: бывали случаи, доводилось видеть мастеров экстра-класса с руками трактористов. А, впрочем, нет, нет – никаких сюрпризов: арсенал небогатый, исполнение так себе, средненькое; интереснее, что там за душой. Впрочем, тоже наверно, ничего особенного; как там у классика? – «убогое оформление»? Лицо, конечно, упростило бы задачу, но он справится и так. Справится, конечно – не впервой. Хотя... Не впервой, но ох, ох, как не хочется, ребята, внутри прям сжимается все, сопротивляется, хоть ты под наркозом все делай. И все – душевность, жалостивость! совесть, будь она неладна! С примесью (кто бы мог подумать!) законопослушности и богобоязненности – как можно! разве можно отнимать что-то у человека! Да еще принадлежащее ему по праву собственности жизни и счастья, – а в некоторых (таких вот, как сейчас) случаях сделать это особенно трудно. Можно сказать – невозможно – все равно, что обидеть ребенка или ударить животное. Вот он сидит перед ним, ничего не подозревающий, наивный, счастливый (попал-таки к Маэстро, жизнь удалась!) под маской наверняка – глупая бессмысленная детская улыбка, – наверняка именно поэтому парня заставили надеть маску. Группа поддержки так называемая, этот и заставил, «пахан». И да! да! тысячу раз говорено-переговорено – нельзя быть хорошим для всех, историю не делают в белых перчатках, есть вещи, которые... К тому же, уж кому-кому, но только не ему служить примером и маяком, разглагольствовать о нравственности и морали! Да, да, конечно, он возьмет на себя этот очередной грех – все нивелирует, спишет преследуемая цель, результат – под него, как говорится, и грешим, – но кто сказал, что он, они правы! Кто сказал, что это все пройдет бесследно и безнаказанно! Хотя, да-да: плюй в глаза – как с гуся вода, здесь эстафету подхватывает (для того и придумана) вторая (первая?) часть рефлексии, ее физиологическая составляющая. Впрочем, правильнее будет сказать – психосоматическая. А все фантазия! – палка, как говорится, о двух концах, любишь кататься! Все рисует и рисует картинки разные – о, Господи! только не думать! не представлять! – веселые картинки, одна веселее другой: будто мясник (или доктор, патологоанатом, например) ты и руки по локоть в мозги погрузил и шаришь там, копаешься – человеку с низким рвотным порогом (ему, ему, Маэстро хваленому!) – все равно, что пальцы в рот сунуть. И ее (фантазию) не отменишь, не обманешь – важнейшая составляющая, движущая и направляющая процесса; в противовес он придумал представлять себя (вот же ханжа!) пчелкой, собирающей нектар, или (более утилитарно, адекватно) археологом, или старателем – неважно, в общем-то, главное – копающимся в чем-то правильном, полезном, что-то изыма-

ющим в качестве дара небес или (по ситуации) недр и собственного усердия; а, вообще, так до сих пор и неясно – как все происходит. Юрка говорил что-то, сыпал мудреными терминами: синапсы, нейроны, лобные доли, но, кажется, ерунда это все – никто ничего толком не знает – феномен, Бермудский треугольник, одним словом. Просто щелкает вдруг что-то в голове, и все начинает происходить так, как он хочет – люди подчиняются, события. Ну, и карты – эти вообще, как ручные; действительно, какая-то особенная связь между ними, взаимопонимание, что ли, – в общем-то, ничего страшного, люди и не с такими тараканами, как говорится, живут, если бы не картинки эти... И не похмелье это душевное после! Хотя – опять же! – похмелье! муки совести! – кто бы говорил! клейма ставить негде! Господи! да что ж сегодня за день!

Так, ладно, поплакались и будет, дело надо делать, господа. Собраться, абстрагироваться, глубокий вдох, пару пассивов; как там – «поехали»? Зацепиться только на всякий случай за что-нибудь, за тот же скриншот циферблата на стене, излом стрелок, и все: ты – пчелка, пчелка, пчелка, а вовсе не медведь... Пчелка; вот он, щелчок, время будто замедлилось, замешкалось; теперь главное – удержаться, удержать все в сознании. Вот так, вот так, потихонечку – будто по канату над пропастью, маленькими, мелким шажочками, дышать через раз. Еще шажок, еще – отодвинулось, прояснилось – все, кажется. Кажется, и в этот раз получилось, проскочил, вписался в поворот...

Неожиданно Ленский понял, что он за столом, в руках у него карты, и все выжидающе смотрят на него. Так, пчелка, циферблат, сознание в режиме stand by – ага, ждут его ставки.

– Принимаю, – услышал он свой голос.

Ага, ну и в самом деле – дело сделано: будто дрогнул, стал ярче свет в комнате, потеплели подушечки пальцев – верные признаки удачи. Дама трэф, зардевшись, послала нежную несмелую улыбку, король червей снисходительно и одобрительно кивнул...

Ленский удовлетворенно (и все-таки она вертится!) улыбнулся, сделал несколько (так! не расслабляться!) глотков из бокала. Коньяк пробежал по крови, застывшее, забывшееся время побежало вслед.

– Партия! – еще через полчаса провозгласил Павел. – Если нет возражений, прошу стороны поставить свои подписи. – он взял с матово блеснувшей плоскости подноса, внесенного вышколенным официантом, лист бумаги, положил на стол.

Ну, что? Похмелье еще только на подходе, есть еще пару минут на оправдательно-нравоучительное словоблудие, ханжеско-снисходительную (где, когда он настоящий?), симпатию к проигравшему. К очередной жертве – разумеется (а как иначе?), с оттенком печали и драматизма: и все-таки, как ни крути, а повезло нам с тобой – в этом мире хотя бы не казнят, здесь все – бутафория. Конечно, все относительно – повезло или не повезло, кому-то больше, кому-то меньше, но в любом случае, избавь меня от унижения завистью – поверь, нечему завидовать. Я мог бы, конечно, успокаивать тебя, дескать, судьба такая, такова селяви, мог бы привести какой-нибудь наипоучительнейший пример, мог бы, но не буду. Не могу, не смогу – победа должна была достаться тебе, но я ее украл. Украл, и то, что могло стать для тебя одним из самых ярких приключений и впечатлений, превратилось в звездочку на моем фюзеляже. Еще одну; их там много, этих звездочек, так много, что самое время заводить другой фюзеляж. Впрочем, какой фюзеляж, какое что? – как и все вокруг, самолет мой – пошлая фанерная декорация: ни улететь, ни даже просто прокатиться. И я вынужден делать вид, играть роль, вынужден врать. Чтоб хоть как-то оправдать свою неправду, неправоту, – как там: лист прячут в листьях? Такой вот «порочный» круг, братишка; не завидуй мне...

«Игрок» уже держал в пальцах ручку, уже приноравливался поставить закорючку, как вдруг что-то произошло. Что-то неуловимое, необъяснимое. Не заметное ни для кого, кроме Ленского; «игрок» вдруг бросил ручку на стол, весело и фамильярно заговорил, обращаясь к оцепеневшему от недобрых предчувствий «маэстро»:

– А что, милейший (!), не сыграть ли нам еще разок? Просто так, на интерес? – и, не дожидаясь ответа, стал быстро-быстро сдавать карты.

Все замерли. Надо, надо было что-то сказать, сделать – вместо этого, будто загипнотизированный, Ленский потянулся за картами. Мысли билась мошкаркой о стекло, в вакууме разом наступившего безмолвия ясно и безоговорочно формировалось злое, обморочное, ожидание страшного и непоправимого. А потом все – и мысли, и комнатка, и мироощущение, все эти пчелы-бабочки-цветочки, хрупкие натужные построения, с таким тщанием сооруженные и выпестованные, отвоеванные у реальности, были опрокинуты, смяты, разрушены, в последнее мгновение, где-то на изломе обморока и яви он поймал последний взгляд, брошенный человеком, сидящим напротив: усмешка, горечь, тоска, – все плыло, мешалось, тонуло...

Король трэф скривил презрительно губы, пиковая дама расхохоталась прямо в лицо.

– А-а! – «пахан» отшвырнул чашку с кофе, ожесточенно дую на пальцы.

– Что за шуточки?! – прошипел он, морщась от боли. – Что у вас здесь происходит! Кофе прямо в руках вскипел! Кипяток!

Не обращая на него внимания, не осознавая, что делает, Ленский перегнулся через стол, протянул руку, пытаясь дотянуться до «игрока», сорвать с него маску.

– Кто ты?! – голос изменил ему. – Кто? ты?

Глаза «игрока» расширились от ужаса, он отпрянул назад, неуклюже подняв руки, но ставшему необычайно гибким и ловким Ленскому все же удалось зацепить край маски, ткань лопнула, обнажив нечистую, воспаленную кожу, испуганный, чуть косящий, в щетке коротких светлых ресниц глаз, – Ленский замер, мучительно удерживая равновесие, страшась отвлечься, оторваться, пропустить что-то важное, что вот-вот должно было произойти, родиться здесь, в этом крохотном, пульсирующем, будто дышащем, зрачке.

– Стоять! – неожиданно услышал он над собой хрип «пахана», а вслед за этим невнятное, какое-то растерянное восклицание Павла.

И вдруг понял – вот оно, то главное, чего он ждал, и все его предчувствия, его ипохондрия, его переживания и суеверия – все слилось теперь в одну неожиданную и непреложную разгадку.

В руке «пахана» блеснул матово пистолет, черной бездной дула уставившийся прямо в лицо, безумная решимость в серых свирепых глазах возвестила, что следующей мысли уже не будет, и, вообще, никаких мыслей уже никогда больше не будет. Потому что, это – конец, потому что, с такого расстояния не промахиваются.

Тело уже дернулось, пораженное агонией, уже покрылось липкой и колючей испариной, как вдруг в сознании соткался образ хохочущей пиковой дамы. Соткался и метнулся наперехват указательному пальцу, жмуцему на курок, наперерез щелчку затвора, и, уже теряя сознание, проваливаясь в черный и бездонный колодец, Ленский скорее почувствовал, чем увидел, как перелетает через него непомерно длинное, громоздкое тело Павла.

ГЛАВА 3

Когда Ленский снова открыл глаза, ни гостей, ни Павла рядом уже не было. Насколько можно было судить, он находился на втором этаже особнячка, в одной из комнат бывшего номера «люкс» когда-то здесь располагавшейся гостиницы. Приставкой «люкс» номер был обязан капризу архитектора, соединившего смежные комнаты миниатюрным ажурным балкончиком, выходящим в типично-канонический, будто взятый с картины какого-нибудь «передвижника», московский дворик.

Память мягко поплыла, качнулась вязанкой виноградной лозы, прихотливым узором чугунных кружев, и Ленский вспомнил все, вспомнил и едва не застонал от досады, бессилия что-либо изменить. Тревога сжала сердце; произошедшее нависло неизвестностью, неопределенностью, неустроенностью, непоправимостью – что теперь делать со всем этим? Что с теми, «гостями»? И, кстати, что с ним самим?

Он поочередно пошевелил пальцами рук и ног – вроде ничего, все работает. Боли нет, в легких – ни свиста, ни хрипа, сердце бьется, насколько можно судить, в нормальном ритме. Значит, жив? И вообще – мыслю, значит, существую?...

Он сел на кровати, осторожно, будто чужое и незнакомое, напрягая тело – голова не закружилась, тошноты нет. Вытянул вперед руки, закрыл глаза, поочередно дотронулся указательными пальцами до кончика носа – слава Богу, и с координацией все в порядке.

Он уже хотел встать и окликнуть кого-нибудь, как оконная штора отодвинулась в сторону, и с балкона в комнату вошел Силич. Хотя, сообразуясь с габаритами и способом перемещения, точнее будет сказать – влез. Именно так – сначала в проеме возникла голова, за ней – плечи, торс, а затем и весь он перебрался в комнату.

Увидев Ленского сидящим, всплеснул ладонями, изобразил радость.

– Ого! Ну, наконец-то!

– Ого, – повторил Ленский. – Что? долго лежу?

– Ну, это как сказать, – Силич шумно уселся в кресле, – часа два уже валяешься. Так ты весь мой день рождения проспай! Ты хоть помнишь, что у меня день рождения сегодня? – на мгновение его лицо снова стало серьезным и усталым, тут же расплылось широкой улыбкой. – Помнишь, ведь, бродяга! А то придумали тоже – кома, кома! Просто подарок зажилить решил, признайся! – и он опять рассмеялся – будто закашлялся.

Неумелое притворство друга тронуло и царапнуло одновременно; ощущение было такое, будто они играют в морской бой наоборот – стреляют так, чтобы не задеть корабли противника.

– Что со мной?

Силич изобразил безмятежность.

– А что с тобой? Это ты у себя должен спросить. Врач сказал: ничего страшного, опасности для жизни нет, простое переутомление. Со всеми случается – двадцать первый век, стрессы, скорости, ну и все такое, разное... Вообще-то, предлагал в клинику заехать, осмотр пройти, но это – необязательно, в качестве рекомендации.

Ленский затаил дыхание, «выстрелил»:

– А с теми что?

– С гостями что ли? – Силич небрежно отмахнулся. – А что с ними? Провели воспитательную беседу и домой отправили.

– Подожди... Как домой? – Ленский даже привстал на кровати. – Он же стрелял в меня! – он запнулся, бросил на собеседника несмелый взгляд. – Или... не стрелял?

– Да стрелял, стрелял! – поморщился (попадание!) Силич. – Ну, стрелял, и что с того? Получил волшебного пендаля и был отправлен восвояси. И друг его тоже – надолго запомнят. Хотя, конечно, будь моя воля... А так – отделались легким испугом. Нет, ну а что я должен

был делать? Ну, не в околоток же их сдавать, сам посуди! Хотя, конечно, надо было бы в профилактических целях... – раздражаясь, Силич ударил кулаком по колену, сделал над собой усилие, миролюбиво улыбнулся – Кстати, а что у него с кофе было? Я проверял – на пальцах действительно ожоги!

Ленский молчал, приняв его молчание за одобрение, Силич воодушевился.

– Ну, вот и я говорю – поделом! Бог щельму метит, будет знать в следующий раз! А то привыкли вести себя, будто на сходке или малине какой!..

К черту! Ленский мысленно скомкал листок с кораблями.

– Слав, ты серьезно?

– Ну, а что? А что, по-твоему, я должен был делать? Тебя спасти или с этими дебилами возжаться? Врача к тебе по пробкам везти или служебное расследование устраивать? Прости, если чего не так сделал!

Теперь во взгляде друга читались вызов, обида, Ленский снова вспомнил вихрь, чудовищный, гибельный ураган, застонал.

– Ты что, не понимаешь? Их же надо было допросить! Ведь, надо же разобраться!

– А что тут разбираться! – лицо Силича стало обиженным, как у ребенка. – Моя вина, допустил, не досмотрел, готов ответить по всей строгости. Ну, лопухнулись мы, лопухнулись! с кем не бывает! Но все ведь хорошо закончилось – не так разве? Я и отпустил их, только когда врач сказал, что опасности для жизни нет. От греха подальше – уж больно Пашка твой сердился, еще немного и до смертоубийства дошло бы, – а на хрен нам надо такое, сам подумай! Нет, я вины с себя не снимаю, но зачем усугублять? Зачем карму себе портить? грязь выносить? Так что, предлагаю считать инцидент исчерпанным, и в рапорте ничего не указывать – начальству лишнее знать не надо: меньше знаешь – лучше спишь. А виноватых я найду, лично задницы нарумяню! никто рук моих не избежит, – уж ты поверь! И все на этом! – так, я думаю, будет правильно! И с жуликами я договорюсь, считай – уже договорился! Им самим неинтересно, чтобы все наружу выплыло и лавочка прикрылась.

Ленский смотрел на сильное лицо друга, уверенно выдающего круглые и гладкие фразы, и неожиданное раздражение ожгло крапивным стеблем.

– О, Господи! Слава! Да не в рапорте дело! Ты что, не понимаешь? – Ленский и не пытался (нервы! нервы!) скрывать досаду, отчаяние. – Да пойми же ты! Мне человек этот нужен! А ты его отпустил! Ну вот, где? где его теперь искать?

Он отдернул штору, вышел на балкон. Морозный воздух колко сжал лицо, прошелся между лопатками; неожиданно стало грустно и зябко, как в детстве. Будто оставшись за дверью, все случившееся отодвинулось, растаяло в мягком обаянии старого дворика, в грустной агонии зимы, тихо, как кошка, уходящей в темноту. Осталось только это – кружева теней, пожухлая виноградная лоза, усталая печаль пасмурной мартовской элегии...

Чужое присутствие вернуло на землю, он оглянулся. Рядом стоял Силич, мощной глыбой возвышаясь в темноте,

– Жень, да чего ты психуешь? Нервное? перепугался, что ли? – Силич чиркнул спичкой, осветил его лицо. – Или стоящее что-то было?

– Было Слава, было...

– Тогда, так и надо говорить, – в голосе Силича послышалась улыбка. – Я тебе этих красавцев из-под земли достану, завтра же будут в твоём распоряжении – обещаю. Но это завтра. А сегодня – давай ты меня уважь. Раз уж жив остался, – праздник у меня сегодня, помнишь? – юбилей. Мы в кафе собирались пойти, столик заказали... Там уже все наши собрались, уже празднуют всюю, Алла раз двадцать звонила. Ну, да и черт с ней! Черт с ними со всеми! Не хочу я туда, Жека. Родственники, жена, коллеги, шеф – задолбали все, не хочу! Почему свой праздник я должен другим дарить? Давай, раз такая ситуация образовалась, дезертируем.

Махнем к нам, на квартиру, стол организуем, оттянемся, как в старые добрые, а? Не поверишь, как этого не хватает! Давай, Женька, ностальгия заела – жуть! Ну? Согласен? Соглашайся!

– А Юрка?

– И Юрка, конечно! – оживляясь, подхватил Силич. – Куда мы без него?

Ленский прислушался к себе, прикидывая варианты. Ностальгические сопли – не самая лучшая перспектива, но, все ж таки, лучше, чем сутолочная ресторанный пьянка; душа просила, требовала, умоляла о тишине, покое.

Но главное, конечно – разговор с Юркой, данные объективного контроля, из первых рук, с пылу с жару, – ради этого и душещипательную историю можно выслушать, игра стоит свеч. А история будет, будет – он чувствует ее на расстоянии, как аквариумная рыбка – землетрясение; уже готова, просится наружу. Ладно, вся жизнь – компромисс, череда жертв в копилку целей; гуттаперчивая мысль встряхнулась, извернулось шуткой.

– Что, и водку пить будем?

– Ну вот! – Силич хлопнул его по плечу. – Давно бы так! А то, «понимаешь», «не понимаешь»! Нудеж один! Кстати, – он смутился, запнулся. – Короче, вот он, патрон этот, тот самый – может, хочешь себе оставить?

Ленский покрутил желто-серый цилиндр (смерть Кошея) в пальцах, спрятал в карман.

– Поехали, Слава.

Каким-то чудом они миновали ставшие уже привычными в этот час пробки и уже через полчаса входили в ту самую «нашу» квартиру. Приобретенную когда-то из первых денег за игру и за десять лет успевшую пройти весь цикл эволюционно-ситуативных метаморфоз, превращаясь то в любовное гнездышко, то в приют одинокого страдальца, то в ночлежку. И, в конце концов, подвергшуюся чистилищу капитального ремонта, превратившего ее просто в квартиру, классический вариант современного кондоминиума классического современного мегаполиса.

Ленский так и не нашел времени побывать здесь после ремонта, и сейчас, обходя безукоризненные, стерильно-обезличенные комнаты, ощутил легкую грусть по временам, исчезнувшим под слоями штукатурки.

Силич суетился вокруг сервировочного столика, а он отвернулся к окну, смотрел на дрожащее море огней за стеклом, все произошедшее казалось зыбким и далеким, обманчивым, как луч света, заблудившийся в лабиринте зеркальных преломлений.

Тем временем содержимое упаковок, банок и баночек перекочевало в тарелки, несколько породистых бутылок оживляли аляповато-купеческий ландшафтик, – Силич выудил за горлышко одну, открыл, плеснул в бокалы.

– Давай сюда! – позвал он Ленского, все еще стоявшего у окна. – Юрку не ждем – он в пробке, наверно. И звонить бесполезно – я его телефон попросил отключить для конспирации. Так что, будешь за двоих отдуваться! – он довольно хохотнул, усаживаясь в кресло. – Давай, панегирь, рассказывай, какой я славный. Надо же, с детства врезалось в память: имя Слава – значит, и должен быть славным. Так мне взрослые втолковывали, когда лениться начинал. Всю дорогу – дома, в школе, на тренировках, – я имя свое возненавидел, честное слово!

Ленский подпустил иронии в голос.

– Имя поменять решил на старости лет?

Силич отмахнулся:

– Не обращай внимания, к слову пришлось. Ну, так что? За меня?

– За тебя, дорогой! – Ленский привстал (будто на стременах), протянул навстречу бокал.

Коньяк слегка отдавал орехом, приятно обволакивал небо. А, может, и в самом деле – напиток? – своего рода наркоз, душевная анестезия. Вот-вот разразится ливень ловстори, самое время приготовиться, запастись зонтом. Один за другим, Ленский сделал несколько глотков, ласковое тепло побежало в кровь, стало спокойно и уютно.

– Ну, как? – Силич выжидательно замер. – Нравится?

– Ты разоришься на коньяках.

– Хороший коньяк – моя слабость.

– Да-а, – Ленский покивал головой, откинулся в кресле. Подвисла пауза.

Силич отставил было бокал на стол, но передумал, снова взял и осушил до дна. Ага, кажется, нчинается!

– Историей одной поделиться хочу...

– Да-а?

– Выслушай меня, Ленский, прошу тебя. Знаю, что думаешь, но горит во мне все. Если не расскажу – помру на хрен. Будешь слушать?

Ленский вздохнул – как будто у него есть выбор. И в самом деле, день сегодня какой-то не такой. Бывает, бывает, происходит что-то где-то, какое-то колесико соскакивает со своей дорожки, и происходят непостижимые вещи. Шулер средней руки, для которого потолком карьеры было бы место штатного «исполнителя» в какой-нибудь задрипанной провинциальной дыре, едва не обыгрывает его, «маэстро». Человек, пришедший в качестве секунданта, стреляет ему в голову. И напоследок железобетонный, пуленепробиваемый Силич, которого просто невозможно заподозрить в сентиментальности, рвется рассказать историю своей первой любви. Что ж за день такой сегодня?

– Я слушаю, Слав. Валяй, рассказывай, – он подлил себе коньяка, уселся поудобнее.

Силич покрутил головой, невесело засмеялся

– Десять лет знакомы, все никак не привыкну. Ощущение такое, что заранее все знаешь. Ладно, проехали... Понимаешь, любовь у меня случилась... Давно еще, в молодости, – слова давались ему с видимым трудом. – Никому об этом не рассказывал. Не то, что от людей, от себя прятал. Забыть хотел. А сегодня весной в воздухе повеяло, и снова все закрутилось-завертелось, дало под дых...

Ленский молчал; замешательство друга доставляло удовольствие.

– Ну вот, – Силич улыбнулся, – тему обозначил – уже полдела, самое трудное позади. Хотя, какие еще темы могут быть, когда... Вот... Ну, что? Тогда – без предисловий? Да какие предисловия? – биографию мою ты знаешь – родился, учился и все такое. Но учился хорошо, вот в Москве и оказался. Понимал, что деньги, успех, будущее – все здесь. Поступил в Бауманку, инженером хотел стать; служба, погоны – это все потом, другая, следующая жизнь.

Квартировал в общежитии: первый опыт взрослости, самостоятельности. В комнате нас четверо, копейки до стипендии, общая кухня, один холодильник на этаж – университеты эти, брат, до сих пор снятся. Хорошие университеты, закалка жизнью – самая лучшая закалка. Лучшее лекарство от сантиментов разных и прекраснотушней – мне тогда это, ох, как надо было! Уж больно наивен был, чист, аки слеза младенца, последнее готов с себя отдать был, врать – ни Боже мой! Но Москва любого обломает. Сначала трудновато, конечно, пришлось, а потом – ничего, пообтерся, пообтесался, втянулся, куда только что подевалось.

Так оно и катилось все до поры до времени, но жизнь – игра, театр, скучно ей, когда вот так – из пустого в порожнее. И вот, в соответствии со всеми законами драматургии, наметилась интрига – возьми, да и свались на несчастную мою голову некто Илюша Зарецкий. Кто такой? Ох, дружище! Худший вариант из возможных – советская знать, барчонок, то ли из семьи дипломата, то ли из какой другой семьи, перевелся на наш курс – только представь себе! – из самой Америки! Ну, или не из Америки, может, и из Англии или из Австралии – не суть, а только – откуда-то оттуда, из загнивающего Запада. Как говорится, с пылу, с жару, пропитанный испражнениями вредительских пороков и пагубных привычек – денди с иголки, красавец, парфюм, в институт на собственных «Жигулях» приезжал. Ферг, мажор, одним словом – я таких всем сердцем ненавидел, просто на дух не переносил! И кой черт его, спрашивается, в Бауманку занесло! Валил бы себе в свой МГИМО или ВГИК, или МГУ! – но вот, поди ж ты! занесло на мою голову!

Но ничего не бывает в жизни просто так, ничего не бывает случайного – ни декораций, типа ружья в первом акте, ни героев. Вот и Илья этот – помимо красной тряпки и аллергена морального суждено ему было сыграть и еще кое-какую роль, можно сказать, роковую и фатальную. Ну, а сперва – соперником моим стать, для начала – в учебе. Умный, гад, оказался, талантливый, даром, что хлыщ и мажор! То, что мне трудами тяжкими доставалось и ночами бессонными – он на лету схватывал! Ну, и плюс внешность-шмотки, легкость-раскованность, апломб аристократичный-столичный – ну просто-таки противоположность и вызов мне, тугодуму-тяжеловесу, просто антипод мой! – возненавидел я его, люто, истово возненавидел!

– Возненавидел... – повторил Силич и потянулся за другой бутылкой. Ленский меланхолично смотрел, как он открывает ее, так же машинально подставил опустевший бокал.

– Ну, а дальше и сам можешь продолжать – не успокоилась, не остановилась на этом судьба-злодейка, смастерила треугольничек. Не мудрствуя лукаво. Какой-какой? – любовный, разумеется! – вдобавок ко всему угораздило меня еще и влюбиться! И влюбиться – как и все привык делать – основательно, крепко, хоть и косолапо. Почему угораздило, спросишь? Да, потому что – в преподавательницу! В преподавательницу новую нашу по английскому, Светлану – не забыть имя! – Ивановну Баскакову.

Расхожий сюжет, скажешь, учитель-ученик, было-перебыло. Может быть, и так; хотя, если так взять – так ведь и все когда-то уже было, да? Впрочем, я и не думал об этом тогда, я тогда, вообще, ни о чем думать не мог. Ходил, будто пыльным мешком пришибленный, сам не свой, – наверно, это и есть та самая любовь с первого взгляда. Все равно, что удар молнии – через секунду ее нет уже, она уже где-то далеко, а ты – на земле, только и способен глаза вслед тарачить и рот как рыба разевать.

Силич помолчал:

– Она и была похожа на молнию. Стройная, стремительная, белокурые волосы крупными локонами, огромные синющие глаза, румянец, как у ребенка. И все это – мгновенно, ярко, живо, неподдельно, непосредственно! «Силич! Вы снова сегодня в этом свитере. Это уже третий раз подряд за неделю! Неужели у вас не хватает фантазии, чтобы изменить имидж? А что по этому поводу думает ваша девушка?» И тут же: «Потапов, как вы произносите слово „perfect“? Запомните: первый слог „п“ должен звучать, отрывисто, хлопком. Вот так: „п“, „п“. Запомнили? Тренируйтесь дома. Как? Приклейте к верхней губе бумажку и добивайтесь, чтобы она взлетала. Что? Да, так и ходите с бумажкой, пока не научитесь!»

В считанные дни и без единого выстрела завоевала она институт, популярность ее была колоссальной. Вся мужская половина была влюблена в нее поголовно, женская старалась подражать.

Вообще, надо сказать, весь ее образ был окутан ореолом какой-то тайны, тянулся за ней шлейф какой-то совершенно невероятной, наполовину шпионской, наполовину романтической истории. Будто бы работала она до этого в одном из наших посольств за рубежом, и была будто бы связана с разведкой, и, якобы, пришлось ее оттуда срочно эвакуировать в связи с дипломатическим скандалом. В каком посольстве, из-за чего скандал, никто, разумеется, не знал, но дыма, как известно, без огня не бывает; надо ли говорить, что это только добавляло ей популярности.

А какие мужчины к ней приезжали! На иномарках (это в 80-е!), лощеные, холеные, даже Илюша Зарецкий терялся на их фоне. Хотя нет, – роль! треугольник же! – он-то как раз и не терялся. Ухаживать за ней стал, не так, чтобы откровенно, конечно, но тонко, деликатно, да и вообще, установилась между ними некая связь, общность, что ли, были они, что называется, одного поля ягоды. Опять же, по-английски говорили, как на родном, – пока мы, убогие, корпели над материалом, – болтали о чем-то своем. И я ревновал, конечно, ревновал жутко. Понять не мог ни фига, пытался по интонациям сориентироваться; впрочем, так еще хуже было. Казалось иногда – воркуют, амуруются, ей-богу, так и растерзал бы обоих на месте.

Силич сделал порядочный глоток.

– До сих пор мне не дает покоя мысль: а, может быть, он, все-таки, любил ее? Может быть, болезнь эта протекала у него именно так, кто знает? Впрочем, тогда я даже и мысли такой не допускал, а теперь и вообще – какая разница.

Но любовь – открытое пространство, незамеченным остаться невозможно. Вот и меня очень быстро срисовали, и он, и она. Ей – так и вообще сам Бог велел – предмет приложения, женская интуиция и все такое, ну а он – уже как лицо, непосредственно вовлеченное и заинтересованное. И хотя виду не подавал, беззаботным и ничего не понимающим прикидывался, и, надо сказать, хорошо так прикидывался, убедительно, да только любовь – тот еще рентген, камера обскура: как облупленного я его видел, все его ужимки, мыслишки прыщавые считывал. И сам, конечно, был как на ладони: здоровенный увалень-молчун, робкий, стеснительный, глаза прячет – на раз все читалось, как дважды два.

Спросишь – как она реагировала на все это? Не знаю. Поначалу, думаю, льстило ей это, даже забавляло где-то. Хотя и напрягало, конечно – как-никак, а мы ученики ее, она педагог наш. А потом, видимо, привыкла, смирилась – и в самом деле: мало ли молодо-зелено, в первый раз, что ли. Перебесятся, перекобелятся, найдут себе подружек-погодок и забудут все благополучно. Что ж, может, так оно и было бы, да только серьезный был закручен узел, основательный, так просто не распутаешь. Хотя я, честно говоря, особо ни на что и не рассчитывал: слишком нереально, невероятно все было, в голове не помещалось – я и она. Не гонит из класса – и хорошо, и счастлив, разговаривает, улыбается – на седьмом небе. Лишь бы быть с ней рядом, видеть ее, слышать... Ну, и его контролировать, само собой, – опять же, конкуренция учебная-академическая, все дела...

Так и протанцевали мы втроем первый семестр; Октябрьские, Новый год прошли как в бреду, в угаре: только и думал о ней. Хорошо, хоть не пил тогда, тренировался усиленно, а то бы и не знаю, чем все закончилось.

Но отзвенели праздники, пролетела сессия, и вновь встретились мы с ней. В институте где-то, в коридоре. Представляешь, увидела меня, заулыбалась, и говорит: «Хорошо выглядите, Силич! Поздравляю с победой!» – это я тогда чемпионат города выиграл, пояс черный получил. А я стою дурак дураком, глазами только хлопаю, – нет, чтобы тоже комплимент ей отвесить. Окажись на моем месте Илюша Зарецкий, уж он-то точно не растерялся, выжал бы все из ситуации! А я пока придумал что-то, ее уже и след простыл.

Чуть я тогда себя по голове кулаком не хватил! Но, к счастью, в тот день факультатив был назначен, думаю – там реабилитируюсь. Уже и фразу заготовил, отрепетировал, прихожу, а нет никого, пустая аудитория, я один. Да, говорю себе, как бедному жениться – так и ночь коротка. И так тошно стало мне, так муторно! И со всей ясностью, со всей очевидностью открылась мне истина, простая и непреложная – никогда не быть нам вместе, никогда женщина эта не будет моей.

И только так я подумал, как открывается дверь, входит она, – я и вовсе обомлел. А она огляделась по сторонам и улыбается так смущенно. А где же, спрашивает, остальные студенты? А я опять мычу что-то нечленораздельное, ничего объяснить не могу. А она подошла к окну, за штору заглянула и говорит игриво так: «Когда же это стемнеть успело? Да там машины-то еще ездят?» И на меня смотрит, ответа ждет. Я понимаю – шутит, может быть, даже заигрывает, но язык будто деревянный, мысли – болванками чугунными; отвечаю, что наверно ездят, а сам глаза на нее вытаращил, не могу оторваться.

Совсем голова поплыла – она рядом, понимаешь, рядом! И в первый раз мы наедине, понимаешь? Только я и она, она и я. За стеной шаги чьи-то, каблучки цокают, голоса, но это где-то там, далеко-далеко, в другом измерении, на другой планете... А мы с ней – здесь, будто в сказке какой-то, заколдованные в этой комнате...

Не знаю, что она увидела в моих глазах, а только растерялась как-то, сникла вся. А потом села на стул, уронила голову в ладони и заплакала. Я и не понял сначала, что это она плачет, не приходилось до этого видеть, как женщины плачут. Да и как-то невероятно, неправдоподобно все это было – она и слезы. Не могла, ну просто не могла она просто плакать! такая сильная, красивая, независимая! – плакать, как ребенок! Даже вспоминать больно...

Не было у меня никакого опыта с женщинами, да еще в подобной ситуации – просто подошел, присел рядом. И как-то само собой, как само собой разумеющееся, положил руку на плечо, – ясно помню ощущения: плечо теплое, нежное под тонкой кофточкой, дрожит... Тело моей любимой женщины... И все это – не в сказке, все это – наяву!..

Силич передохнул, потер переносицу.

– Перестала дрожать моя Света, и почувствовал я, первый раз в жизни почувствовал, как земля уходит из-под ног. Пахнуло духами ее, тонкими, горьковатыми, телом ее, а она – совсем рядом, несчастная, плачущая, близкая. В голове совсем помутилось, уж и не помню, как все дальше было. Ехали куда-то, метро, Замоскворечье – все смешалось, сплелось сумбуром, видеорядом. Ничего не понимал тогда, был словно пьяный, очнулся уже в квартире, у какой-то ее подруги. В постели. С ней. Самого факта физической близости не помню, как и многого остального, помню лишь, лежали рядом, совершенно обнаженными, пили вино, и она была прекрасна, как богиня... Как сейчас вижу ее – худенькая, миниатюрная – все сгибает и сгибает мою руку, восхищается мускулатурой.

А плакала она, оказывается, от отчаяния, от одиночества, – старая история о сильной женщине; как там? – «Она идет по жизни, смеясь»...

– Силич опустил голову, замолчал.

ГЛАВА 4

Ленский смотрел на его побледневшее красивое лицо, сильные плечи, тасовал услышанное. История понемногу затягивала, врезалась – черт бы побрал эту его восприимчивость, сопричастие-сострадание – как бы не заразиться, не передознуться. Но, что поделать – обратная сторона медали: любишь кататься, люби и саночки!.. Нет, все! надо завязывать! Хотя – опять-таки – как? И потом – друг, все-таки, юбилей; эх!..

– Ну вот, – заговорил, наконец, Силич. – оказывается, мечты сбываются, и, оказывается, даже самые безнадежные. И, оказывается, не только у идиотов. Хотя, у идиотов, как ни крути, а шансов куда как побольше будет, – состояние Вселенской безмятежности, вседостижимости, всеисполнимости – уже полдела, будто одно притягивает другое, будто вода в сообщающихся сосудах. Хотя, опять же, а что такое идиотизм? – частный случай идеализма, любовь – его романтическая версия; безмятежность в этом случае простирается до пределов абсолютной невменяемости, – я так, например, и вообще думать не мог, буквально ошалел от счастья. Состояние, надо сказать, хоть и приятное, но довольно опасное, учитывая деликатность ситуации; слава Богу, Света все взяла в свои руки. С самого начала рамки поставила: строжайшая конспирация, никаких условных знаков, записок, телячьих взглядов, и я его свято выполнял, читил, как устав воинской службы. Даже ревность научился контролировать, мыслям разным об Илье, о муже ее не позволял в голову лезть. Да, да, муж, новый персонаж, новая головная боль. Не самая лучшая рокировка, замена катастрофы возможной на уже случившуюся и происходящую онлайн в режиме 24/7. Но Света умела находить нужные слова, – казалось, что это твои слова, твои мысли. И в самом деле – что за детство! мы же взрослые, люди, образованные, европейцы! Ведь ревновать – это пошло, собственничество и домострой, а любит она меня! меня! одного меня! Иначе как, чем объяснить, что она со мной? Тестостерон-адреналин? Лекарство от скуки? – лезло, конечно, в голову разное, неудобосказуемое, корчи чистоплюйства, гримасы добродетели, ревность все та же, опять же, но гнал я, гнал всю эту дрянь, шатания-сомнения – надо быть сильным, благородным, надо быть выше этого! И Света всячески меня в этой философии поддерживала и укрепляла, не прямо, конечно, а косвенно, обвиняком, целую систему рефлекторных дуг выстроила – здесь тебе рафинада кусочек, а здесь – и тока разряд получить можно; ох, наверно, и натерпелась она со мной, «юношей бледным со взором горящим»!

И, вроде бы, понятно все – ни ей, ни мне неприятности не нужны; я – студент, она – преподаватель, замужняя женщина, любое подозрение, любой намек – и все! привет карьере! волчий билет! Вроде бы и понятно, и проговорено, и рафинада полный рот, но сквознячок какой-то, червоточинка какая-то все равно оставались! Тянуло холодом, сочилось ядом – ведь неправильно это все, не по-людски, ведь, если так подумать – обман все, ложь! Допустим, не испытывал я добрых чувств к мужу ее, и это еще – мягко говоря, но так-то тоже с ним – зачем? плевков в душу, в лицо! Подлость вперемешку с гадостью! И слово еще это мерзкое – адюльтер! – ну, не мог я так, не мог и все! совесть аж заходила! И по мозгам било! – мама дорогая! Так и хотелось иногда развернуться, сгрести в кучу всю эту лабуду, всю эту гребаную декорацию, и... Но – нельзя, красная линия: наврежу любимой, себе наврежу. Впрочем, о себе в последнюю очередь думал, конечно, просто давило, душило это вранье, вранье и грязь, и совесть ныла и ныла, ныла и ныла, а сделать ничего не мог – будто в стеклянном доме – одно движение неосторожное, и развалится все на хрен, к чертовой матери.

Силич помолчал, улыбнулся.

– Видишь, казалось бы, простая интрижка, приключение, каких сотни и тысячи, а сколько рефлексии. Видишь, как все непросто у таких, как я, куда нам до идиотов; прав был классик: горе – от ума. На этом многие погорели, так и не прозревшие, так и не понявшие одной эле-

ментарной вещи: весь мир – обман, и выжить в нем можно, лишь обманывая. Всех, в том числе и самое главное – самого себя; счастье – не что иное, как добровольная иллюзия, поллюция самообмана. Сознательного и – самое главное! – добровольного; сиречь, и само – обман, – с какого-то момента, рано или поздно, это таки доходит до ума. Конечно, не сразу, но наступает день, и количество переходит в качество, и понимаешь: не случится ничего страшного, если немного притворишься. Не так, чтобы уж совсем, а чуть-чуть, немножко. Сделаешь то, чего от тебя ждут, ответишь добром на добро. Приврешь, поддакнешь, подмигнешь, подыграешь, – совсем как в детстве, когда делаешь вид, что не узнаешь в деде Морозе соседского дядю Вову. И все, и дело в шляпе, и всем угодил, и все довольны, и жизнь обязательно чем-нибудь награждает. Каким-нибудь бонусом, все тем же куском рафинада...

Настал такой день и для меня, истина эта открылась и мне. И, знаешь, многие вещи стали проще, доступней. Например, необходимость прощаться, зная, что отпускаешь любимую к другому, и, может быть, она будет принадлежать ему и говорить те же, что и тебе, слова. Необходимость не отводить, не опускать глаза, выглядеть счастливым и беззаботным, в меру грустным, но все понимающим – тоже тонкая штука. Хоть и достигается эмпирическим путем, но предполагает изначальные задатки. Душевной гуттаперчивости и комформизма, – у меня, очевидно, таковые имелись. Поэтому и этой наукой овладел довольно скоро, хоть и не без конфузов и усилий. Впрочем, еще раз повторяюсь: притворство – базовое качество *homo sapiens*, хотя, ей-богу, правильнее было бы – *homo simulans*.

И опять повторяюсь: и для меня, и для Светы рафинада было с избытком, достаточно, чтобы заглушить горечь. А спор о том, что приятнее, получать или отдавать, дискуссии разные на темы морали и права, либидо и сексуальных патологий оставим за скобками.

А вообще, я был словно кусок глины в ее руках – что хотела, то и лепила, – вскоре и следа не осталось от прежнего Славы Силича. Будто заново родили-построили – вкусы, манеры, привычки; куда только подевались тяжеловесность, робость, провинциальность. И при этом – вот же физиология страсти, алхимия рефлексов – даже близко! сам себя не узнавал! – никаких рефлексий, восстаний оскорбленных чувств и возмущенного разума, просто паинькой был, теленком! Пажиком, вытащившим счастливый билет господской любви и допущенным в святая святых будуара, – от такого у кого угодно крышу снесет.

А тут еще в один прекрасный день и слава подвалила – абсолютно неожиданно для всех и самого себя стал я знаменит, самой настоящей звездой стал, – эмоции и вовсе зашкалили, это улетело в космос. Ну да, да, спортивные мои подвиги, чемпионство мое, как говорится, награда нашла героя.

И все, завертела жизнь в радужном калейдоскопе. Куда-то подевались прежние друзья, интересы, об Илюше Зарецким даже и не вспоминал. Да и кто он такой, этот Илья? Какой-то мелкий третьесортный мажоришка! Теперь моей дружбы искали самые известные люди, знакомства со мной добивались красивейшие девушки. Впереди была вся жизнь, а в ней – Света, без нее ничего себе не представлял. Знал просто, верил, что так будет. До того верил, что никак по-другому и думать не мог – будем с ней вместе и точка! Как это – будем, как утрясется все – неважно, просто будем и все! Говорю же: улетел совсем, крышу снесло напрочь!

Ладно, к сути; пронеслась весна, близилось лето, я всю строил планы. Стройотряд и романтика тайги мне не грозили, как подающая надежды звезда спорта, я отправлялся на сборы в Подмоскovie – на электричке какой-то час до Белорусского вокзала. И Света никуда вроде бы не собиралась. А это значит – никто и ничто не сможет помешать нашим с ней встречам, это значит – счастье продолжается! И уже мерещились мне роскошные замоскворецкие вечера, пиршества плоти на смятых пашнях влажных простыней, но все планы мои разрушила их виновница, Света собственной персоной. Просто и буднично сообщив, что считает нашу связь изжившей себя, а потому более не имеющей смысла, – она сказала мне это на кухне, во время ритуального чаепития, которым заканчивалось обычно текущее свидание и предвarya-

лось следующее. Только в этот раз вместо даты и времени, я услышал свой приговор. Услышал, что она уже давно думала об этом, только не решалась сказать, опасаясь сделать мне больно, но, в конце концов, решилась. И сейчас, когда видит, как спокойно я к ее словам отношусь, понимает, что волновалась напрасно.

«Подумай сам, ну что мы за пара...», – говорила она, помешивая чай ложечкой, и этот звук колоколом отдавался в моей голове. – «Я старше, моя жизнь уже наполовину прожита, а ты – молод, красив, талантлив, тебя ждет прекрасное будущее. Я буду только тяготить тебя; поверь, очень скоро наша связь станет для тебя обузой, тяжким бременем, ничего, кроме боли и разочарований не принесет. Так давай расстанемся сейчас, пока еще не причинили друг другу зла, пока не натворили непоправимого; у нас разные пути, разные судьбы, отпустим же друг друга...».

Я слушал и не слышал, молчал, оглушенный, парализованный. А она под села ко мне, нежная, моя – я чуть с ума не сошел! только что обладал этим телом, наслаждался им! – обняла за шею, прошептала: «Ну, что ты, малыш? К ударам судьбы надо относиться легче, тогда быстрее заживают раны».

И ушла. А я остался. Один в пустой квартире, показавшейся без нее, без ожидания ее, без возможности обнять, целовать, любить ее безобразно, бесстыдно громадной, безнадежно пустой и чужой, – мозг отказывался принять, поверить. Я казался себе наименее несчастным человеком на планете, я хотел умереть. Нет, не то, чтобы собирался сигать в окно или шарил в поисках веревки или бритвы, но, если бы кто-нибудь в тот момент по каким-то причинам захотел меня убить, я не стал бы сопротивляться.

Когда я опомнился, день за окном уже догорал, надо было уходить. И я ушел. Бросил, как обычно, ключи в почтовый ящик – будто пуповину оборвал, точку поставил; поплелся к себе в общагу...

Ну, не буду утомлять рассказом о бессонных ночах и окаянных днях – всего этого с избытком в любовной лирике. И да, вот так – увы и ах, но не потянул на мачо, слаб оказался на поверку; сил только и хватило на внешние приличия. Впрочем, и этого не понадобилось – занятия закончились, соседи по комнате, однокурсники, друзья разъехались кто куда, кто по домам, кто по тем же стройотрядам, – не перед кем было ломать комедию. И остался я один, один на один с самим собой. Валялся в убогом своем общаговском склепе-пенале, отупевший, опустившийся, невымытый-небритый. Гонял и гонял по кругу одни и те же мысли, весь этот слюняво-покаянный, апокалиптический хоровод: что сделал не так, в чем виноват, за что наказан? И – самое главное! под дых! – неужели все, что было, все эти дни, ночи, признания, откровения, все это милое, суматошное, сумасшедшее, сокровенное, трогательное, суть и естество любви – неужели все это можно вот так вот взять и выбросить? Неужели все это ничего не значило?

Одним словом, прошел я, брат, весь этот круг, всю эту науку. Без помощи, без подсказок, без поддержки, как говорится, всухую. И ничего, жив остался. Озлобился только. На весь женский пол.

Он улыбнулся, покачал головой.

– Интересно, у других любви тоже вот так же вот заканчивались? Вот у тебя, например, Ленский. Можешь вспомнить?

Ленский молча пожал плечами.

– А-а, ты, бессердечный, безнравственный, неуязвимый Ленский, – проворчал Силич, наполняя бокалы. – Знаю, ты никогда не ревновал. Потому, что не любил. Ты ведь у нас плейбой, Демиург и Казанова в одном лице – зачем тебе любить, кого ревновать?

И уж, конечно, не злобствовать, как мне. Хотя, и я – не то, чтоб озлобился, а разочаровался, скорее, что ли. Сверху вниз стал смотреть, предвзято, презрительно и подозрительно, – следующей ступенью инициации, как и следовало ожидать, стал ренессанс, метаморфоза, так

сказать, гусеницы в бабочку. Недавнего губошлепа и увальня в того самого мачо, дерзкого и безжалостного хищника, находящегося, к тому же, в состоянии перманентно-кататонической постлюбовной фрустрации, а потому считающего, что имеет полное моральное и какое угодно право на амурные бесчинства. Которые тут же и стал учинять, благо ситуация складывалась максимально благоприятная – вокруг спортбазы (на сборах, слава Богу и спасибо тренеру, таки очутился) – пансионаты, дачи, санатории: просто переизбыток женской ласки и неудовлетворенности, атмосфера вседозволенности и навсесогласия. Ну, а тут как тут – я, демон юности и порока, воплощение сладострастия и легкомыслия, клейкая лента для мух, – словом, затянуло меня в этот водоворот, пустился, как говорится, во все тяжкие. Мимолетные флирты-перепихи, связи без обязательств, на ночь, на час, на взгляд, на закуску, без сомнений и объяснений, без вины и будущего – будто в бреду, во сне, в сказочной стране свободы и наслаждений. И все это – лихорадочно, нетерпеливо, самозабвенно, будто наверстывая, будто вдогонку и впрок, реванш и месть, гордость и отчаяние, какая-то поистине звериная, первобытная жадность жизни. И при этом где-то на самом краю, в самом уголке – надежда, хлипкий несмелый росточек – а вдруг? может, еще и не кончено ничего? Вот увидит она меня, красавца, любострастца, усыпанного перхотью побед и шрамами разочарований, не пропавшего, выжившего, торжествующе несчастного и непокоренно-смирненного, увидит и растрогается, и пожалеет, и снизойдет, и все снова будет хорошо, и все будет, как прежде – такая вот романтическая хрень, конвульсии агонизирующего инфантилизма. А снаружи, в реальности – конвейер тел и совокуплений, в перерывах тренировок – игривые разглагольствования с тренером о роли и пользе секса в жизни спортсмена; двоемыслие – краеугольный камень цивилизации, базовое преимущество homo sapiens над остальными видами; огонь, рычаг, колесо – все это вторично. Впрочем, как бы то ни было, но к концу сезона уже подташнивало от всего этого трахательно-терапевтического вперемешку с сентиментально-депрессивной меланхолией избытия, – казалось, еще немного и просто тупо сойду с ума; самое время было остановиться.

Да, собственно, и возвращаться уже пора было – как-то незаметно пробежало-кануло лето, последние августовские деньки, и вот уже – электричка, тот самый час до Белорусского вокзала. Москва, незабвенная alma mater. И, конечно же – она, Света, – увидел ее, и сразу понял – не будет кина, ничего не будет! Ни возвращения, ни прощения – ничего! Возомнил, размечтатся о кренделях небесных, а сам – как был салагой, так и остался. Пыжился-тужился, а она меня – одним мизинчиком, можно сказать – походя, между делом. Даже парой фраз не перекинувшись, одним взглядом. Нет, ничего такого, просто посмотрела. И ведь как посмотрела! – не сквозь, не как на пустое место, с интересом посмотрела, с теплотой, искренней, неподдельной! С общением, дружеским и одновременно равнодушным, и тоже искренним, и тоже неподдельным, – вот это-то меня и добило. Если бы презрением облила или безразличие изобразила – был бы еще шанс, а так... И как хороша, как убедительна была в этом своем непритворстве! как смела, беззаботна! Разговаривала, смеялась, шутила! Леди Независимость, Фея Совершенство. И при этом – плоть от плоти притворства! самого высшего полета, самой наивысшей пробы! Просто стрим-дефиле какое-то, мастер-класс в режиме реального времени! – что называется, смотри и учись! И я смотрел. Смотрел, смотрел, смотрел – может быть, впервые не таясь, уже не притворяясь. Смотрел... Расписываясь в бессилии и поражении, прощаясь с надеждой – нет, не победить мне в этой игре! ни за что! никогда! Все равно, что аутсайдеру из третьего дивизиона – в высшую лигу, или – с метлой в космос, впрочем, и это – опять-таки к ней...

Что ж, где-то в глубине я был готов и к этому – все то же двоемыслие плюс врожденный крестьянский рационализм. И я уже знал лекарство, испытанное, верное – ну да, да, все то же самое: лето, сексуально-терапевтическое сафари. И как-то так вдруг соединилось все, как-то так вдруг все срослось-совпало – оказалось, то, летнее лето было всего лишь разминкой, пре-

людией, а все самое главное начинается только сейчас. И понесло, брат, потащило! Закружила, затянула пучина столичная; ох, дружище, лучше и не вспоминать! Впрочем, всего и не упомянешь – какая-то каша сплошная перед глазами! какая-то чехарда невообразимая! Какие-то сейшены, квартиры, кабаки, вечеринки, лиц карусель – с кем только не сводила судьба, с кем только не доводилось просыпаться! – в какой-то момент даже задумываться о карьере жиголо стал. Тем более, и предложения иногда поступали, недвусмысленные довольно и конкретные, – контингент-то, сам понимаешь, тот еще, богемно-элитный, не привыкший к отказам и вокруг да около. А я еще, к тому же, и имидж себе успел создать – что-то вроде этакого пролетарского *l'homme fatal*, дикаря-глубинария с элементами духовности и нравственно-интеллектуального доминирования, – и это нравилось, котировалось, слетались как мотыльки на огонь, ну, или мухи, сам знаешь, на что. Вообще, в глубине души женщина всегда жаждет подчинения, и чем выше она по положению, тем сильнее жаждет. Ну, а уж если все это еще и духовностью обставить, подпустить флеру романтического, подвижничества-покаяния разного – вообще гремучая смесь, устоять невозможно; короче, угодил я в самую точку. И конкурентов не было у меня и близко, безраздельно гегемонил на токовище; вскоре даже и слава пошла, и мода установилась, даже кружок почитательниц-обожательниц, что-то вроде секты, образовался. А я, брат, силу свою и значимость почувствовал, загордился, – ну и закрутились-завертелись мыслишки разные, липкие-блудливые – а почему бы и нет? Вот так вот протелепай-прошустри годков с десятков, а потом остановись, отлежись, вскружи головушку какой-нибудь юной-впечатлительной с папой министром – наверняка подвернется кто-нибудь, и – все! в дамках! жизнь удалась! И чем не карьера? – всяко лучше, чем полжизни в каком-нибудь вшивом НИИ от зарплаты до зарплаты прозябать и стены отирать по общагам да коммуналкам! И, казалось бы – чего проще! просто оставь все как есть, обозначь статус и катись себе по накатанной, ан не тут-то было. Останавливало что-то каждый раз, не мог через себя переступить. Да и какой из меня альфонс? – презрению, жестокости так и не научился. Жалко всех этих дурочек было, а жалость в таком деле непозволительна, – здесь или ты, или тебя. А я сердцем больше жил, чем умом; не было во мне ни злости, ни алчности, просто в какой-то момент гордыня обуяла. Нравилось видеть себя светским львом, Адонисом. Этаким вчерашним сермяжным никем, разбивающим сердца и вершащим судьбы недавних небожителей, – ну, и куда с такими данными в негодяи! Вдобавок еще и Свете отомстить хотелось, доказать что-то, – ныла, кровоточила ранка. И из всего из этого, будто из мясорубки – совсем уж что-то немыслимое лезло, что-то совсем уж непристойно-непотребное. С примесью все того же депрессивно-капитулянского, какое-то просто бесстыдство отчаяния – казалось, вот приду к ней на занятие, прямо из чужой постели приду, весь в запахах и грязи – и ее тоже измажу, и ее тоже с собой затащу в этот омут, в это болото, будь оно трижды проклято! И легче станет, и честнее, и правильное, справедливее, – она ведь тоже такая, ничем не лучше, – ну, не верил я! ну, вот хоть убей, не верил в это ее неприятие! в открытость, бесхитрость! В правоту ее не верил! – ведь поигралась, да? просто поигралась со мной, а когда надоел – взяла и выбросила! А теперь ломает из себя честную, глаза делает невинные!..

И неизвестно, от чего было хуже – от того, что она так со мной обошлась, или от того, что я так о ней думаю; запутался я, одним словом, дружище, совсем запутался.

Вот где-то приблизительно в это время и познакомился я с девушкой одной, Аллой звали.

– Алла? – Ленский изобразил удивление. – Уж не жена ли твоя?

– Жена, – Силич почему-то смутился. – Надеюсь, ты не изменишь отношения... – он помедлил, подбирая слова. – Впрочем, как хочешь, какая уже разница...

Ну да, вот так вот и встретились...

На одном из сейшенов очередном. Так, ничего себе, симпатичная, милашка. Влюбленная – чутье у меня к тому времени развилось – будь здоров, глаз был наметан. Ну, влюбленная и влюбленная, и что с того? – как материал – бесперспективная, опасная даже, – уж больно

чистенькая, домашняя. И экзальтированная, эмансипированная, к тому же, этакая пассионария-собственница, – с такими осторожнее надо быть, как бы себе дороже не вышло. Потом еще пару раз пересекались где-то – так, тоже ничего особенного, привет-привет, пока-пока; а потом раз – как гром среди ясного неба – домой приглашает. Если честно, смутился, растерялся, но домой – так домой, почему бы и не сходить для разнообразия.

Ну, купил хризантем букет, конфет коробку, поехал. Пообтесался, конечно, к тому времени, пообвык, трудно было удивить чем-то, но, надо сказать, впечатлил меня тот прием! Квартира больше на музей похожа: о пяти комнатах, картины в золоченых рамах, прислуга в фартучке шустрит. Стерильно все, концептуально. Ну, и семейка – типично партхозноменклатурная: мать – работник ЦК, отец – тоже какая-то где-то шишка, но под простых, от сохи, что называется, косят. Довольно неубедительно, надо сказать, хоть и ненавязчиво. Ко мне – сдержанно-снисходительно, с нотками иронии и презрения: насквозь тебя, студента-лимитуголь перекатную, видим, – в другой раз включил бы брутала, какого-нибудь недотепу-неандертальца, вазу разбил бы или сломал чего-нибудь, а в тот – ничего, сдержался. Будто рубашку смирительную набросили: смотрю, улыбаюсь, гладиться даюсь. Неожиданно для себя самого. И не то, чтобы скандала побоялся или еще чего такого. Не побоялся, нет, скорее, поостерегся. А еще точнее – смутился я, оробел. Будто со стороны себя увидел. Бедного, убогого – заношенный свитерок, рубашка несвежая, а вокруг – чистый Эрмитаж, филиал Лувра! Лепнина-позолота, фаянс, канделябры разные, прабабушки моей ровесники! И таким дешевым, таким карикатурным себе показался! Все это дикарство мое! Вся эта скандально-бунтарская бутафория! Выделяюсь под крутого, с достоинством собственным нянчусь-ношусь, а всего достоинства – болт между ног, вот и все достоинство! И так вдруг ясно это стало, будто свет включили. И так паскудно сделалось, так постыло – руки и опустились, ничего уже и не захотелось. Смотрю на рожи эти улыбающиеся, сам улыбаюсь, а в голове одно – свалить отсюда поскорее. Куда, зачем – не знаю, не понимаю, лишь бы только свалить, лишь бы поскорее. С полчаса, наверно, только и выдержал. На тренировку сослался, еще на что-то, бочком-бочком и выскочил. Выскочил, пробежал сколько-то, только беги, не беги – от себя не убежишь. Как сейчас помню – дождик моросит серенький, сыро, мерзко, и скулить, реветь белугой хочется, – внутри, глубоко, в сердце самое – будто гвоздь забили. Будто ломка какая наркотическая, душу наизнанку выворачивает...

А тем временем праздники близились ноябрьские, готовились все так, будто решили революцию еще раз повторить. Только уже алкогольно-сексуальную, – все чего-то ждали, предвкушали, готовились. И тусовка светская, и общежитие – каждый, разумеется, на свой манер и карман; все, кроме меня. Решил я забить на все, в кои-то веки манкировать священной кумачовой пьянкой, – и там, и здесь – так все достало к тому времени! Думал, улизну от всех, запрусь в комнате, отдохну. Почитаю что-нибудь или просто тупо отосплюсь – ничего и никого не хотелось.

Все бы так и случилось, если бы не перехватил меня сразу после демонстрации отец Аллы. Откуда взялся – хрен его знает; увидел меня, обрадовался, рукой замахал – я сразу понял – отделаться не получится. Так и вышло: слово за слово, предложил подвезти. Узнал, что в общагу еду, засмеялся: нет, говорит, теперь точно не отпущу. Пока нормальным обедом не накормлю – знаю, дескать, как вы там питаетесь, сам студентом был. Вообще, настойчивым таким мужиком оказался, продуманным, а по виду не скажешь.

Ладно, думаю, и в самом деле – почему горячего не съесть. Отобедаю и буду таков – времени на книжку и сон еще хватит. Ан не тут-то было – приехали, а там стол, гости, шампанское. Представил меня – хоть сквозь землю провались: звезда советского спорта, будущий академик, – аплодисменты, взрыв интереса. Смотрю: Алла, – о ней как-то и забыл за суетой за всей, а она – вот она. Красивая, взрослая, – увидела меня, глаза дрогнули. И вдруг шепчет – от кого от кого, но от нее! – давай уедем, говорит. Куда, спрашиваю. Да неважно, говорит,

лишь бы отсюда. А у меня к тому времени совсем голова кругом – шампанское, веселье, хохот; и в самом деле, думаю, пора сваливать. Думал, уедем, соскочу где-нибудь на перегоне, думал, да прогадал. Вцепилась в меня моя Алла, люблю, говорит, и никому не отдам, даже англичанке твоей. Кольнуло, конечно – откуда знает, но сначала спросить поостерегся – вдруг послышалось, а потом уже и не до того было – затянула-таки прорва праздничная.

Короче, проснулся утром с ней в одной кровати. Не сказать, конечно, что рад был этому обстоятельству, но и переживать тоже было не из-за чего. Ну, переспали и переспали, первый раз, что ли. В конце концов, все совершеннолетние, а в числе свобод, дарованных Великой Октябрьской – и свобода отношений. Это все я и дал понять пассии своей новосостоявшейся, разумеется, максимально дипломатично, в обтекаемых выражениях и иносказательном ключе. И она – вроде как ничего, вроде, поняла, поняла и приняла, вроде, и расстались мы с ней легко и беззаботно. Нежно даже расстались, ведь нежность – та же свобода, ее производная, разве не так?

Ну вот, вроде, и все чинно-благородно, никто никому ничего не должен. Но ныло, ныло сердце, так никуда и не делся, остался тот гвоздь...

Так все и случилось. Через пару дней увидел я ее (Аллу) снова, прямо у входа в институт. При всем параде – в шикарном меховом манто, с огромной черной (выпросила, наверно, у папашки для форсу) машиной, с невозмутимым кожаным водителем. И, все-таки, попал, влип – подумалось; теперь надо соображать, как из этого всего выпутываться, как все это на тормозах спускать. Ну, а пока – что делать? – пока пригласил в кафе. На последние деньги – сидим, болтаем, а я сам не свой, кручу в голове, высчитываю – хватит ли расплатиться. И тут она – как мысли мои прочитала! – небрежно так, будто бумажку какую бесполезную – швырель на стол четвертак; у меня аж дыхание сперло. Надо было вернуть, конечно, сказать что-нибудь ироничное, остроумное, интеллектуальное, но не нашелся, мысленки какие и были – смазались, смешались. Опять-таки, постеснялся, сконфузился. Как-то стыдно показалось копейки свои убогие светить, – ну никак не каналы медяки мои против четвертака ее, новенького, хрустящего. А потом и поздно уже было, упущен был момент. Только и осталось – улыбаться, бормотать какую-то околесицу, попури из анекдотов; и взгляд ее не забуду – с прищуром, все понимающий. И снисходительный, благосклонный – будто двери мне открывала, войти приглашала. И я шагнул, вошел – легко, просто дался мне этот шаг. Будто давно уже примеривался, много и долго репетировал; вот так вот, братишка... И, признаться, вкусно, в кайф мне с ней рядом было, – и эта манера ее, барская, холеная: перчатки на стол, нога на ногу, и томность великосветская, взгляд сквозь официанта, – вроде бы и сам таким рядом с ней становишься, или стал уже – лорд-барин, хозяин жизни. Только уже не виртуально, не в мечтах розовых слюнявых – наяву, в реале.

А на следующий день она приехала снова. Уже без водителя и на другой машине. Забрала меня, отвезла к себе и – уж прости за натурализм – трахнула там. Именно трахнула – прямо с порога, едва вошли только, как в кино – стала раздеваться, меня раздевать, – сначала даже как-то не по себе, неловко стало, а потом засосало, затянуло, ум помрачился, помню только – взгляд бесноватый, закушенная до крови губа. Ни убавить, ни прибавить – коррида просто, бомба ядерная. Прямо на родительском священном ложе, посреди шедевров и лепнины – и в этом тоже были своя острота, извращенно какое-то изощренное наслаждение. Хотя, конечно, в тот момент ни хрена не соображал, все на инстинктах, как во сне; очнулся – будто на берег волной выбросило. И она рядом, обняла, о любви шепчет... Не знаю даже как сказать – пожалел ее тогда, что ли. Наверно, пожалел, все-таки – от сердца ведь все, от души – влюбилась ведь девка. Как смогла, так и влюбилась – все мы не подарки, у каждого свои тараканы. Неправильно это все, конечно, было, надо, надо было остановиться, объясниться, но упущен был момент, и даже не знаю, когда упущен – тогда или раньше еще. Да и неважно это было, и поздно уже было пить боржоми, трепыхаться.

И стала она приезжать почти каждый день. Не стесняясь, не таясь. Выходила из машины и стояла рядом, высокая, надменная, в длинном своем умопомрачительном манто – девчонки наши все пищали от зависти. Увозила меня. Потом привозила и уезжала, оставляла один на один с самим собой. С терзаниями своими интеллигентскими, со стыдом – какую-то необъяснимую силу, власть возымела надо мной эта девушка. Хотя и девушкой ее уже как-то и язык не поворачивался назвать – в постели такое вытворяла! – образ милашки-активистки как-то сам собой испарился-выветрился. И ведь все! ей-богу! все понимал! Понимал, а ничего поделать с собой не мог! С одной стороны, и лестно (чего греха таить) было – маркиза, красавица, воспылала страстью и все такое, с другой – чувствовал себя крепостным каким-то, рохлей, размазней! плющило, колбасило не по-детски! И все собирался, собирался объяснить, с духом собирался, речь готовил, а как до дела доходило – будто язык проглатывал, дара речи лишался. Будто боялся чего-то, будто и в самом деле должен был; и вообще, какое-то как бы раздвоение личности произошло. Тот, прежний, который бунтарь и мачо – в угол был задвинут, а этого нового, нынешнего все устраивало – и машина, и квартира роскошная, и остальное все. Так и телепался день через ночь, ночь через день. И все врал и врал, себе, всем. И жаль было Аллу, и жаль себя, и совестно и виновато было. И перед ней, и перед самим собой, и почему-то – она-то, казалось бы, здесь при чем! – перед Светой. И перед всем миром вообще; и затягивал и затягивал этот омут, и затягивался, и затягивался узел, и надо было рубить его, и все висело свинцовой глыбой, и не было сил, и не было видно этому ни конца, ни края...

А потом... Эх, брат! Все эти теории о судьбе, о фатуме – такая фигня! – жизнь играем нами, как захочет. Иду как-то вечером мимо той самой аудитории, когда-то «повенчавшей» нас со Светой, вижу – полоска света под дверью. Ей-богу, дружище, хоть смейся, хоть плачь, но нахлынуло, накатила вдруг тоска, ностальгия, комок встал в горле – «наша» комната, наш Мыс Доброй Надежды. И свет этот – откуда? занятия давным-давно уже окончились – будто тайный знак, маяк метафизический. Толкнул дверь, вошел – за столом, в профиль ко мне – Света, что-то пишет. Услышала меня, вздрогнула, замерла.

Я осмотрелся – мы одни в комнате. Да, знаю, по всем законам и правилам должен был повернуться и уйти. Облив равнодушием, тщательно прикрыв дверь; должен был, но не смог. Не нашел сил. Все смешалось – злорадство, торжество, боль, вина, надежда – совсем уж какая-то глупая, неуместная. И помню только – мысль мотыльком отчаянным – вот посмотрю в глаза, тогда и уйду. Посмотрю – что увижу? Неужели же, как и всегда – в коридорах, на занятиях – эту авгуровскую безмятежность, порочно-общественную недосыгаемость?

Поставил стул напротив, сел – в полнейшей тишине, без всякой реакции с ее стороны – спряталась, закрылась от меня ладонями; минута прошла, другая... И вдруг увидел я – плечи ее подрагивают, и сквозь пальцы медленно так выползает, покатила слеза. Помutilось в голове, все забыл сразу, и гордость, и злорадство, сам едва не заплакал. Подхватился, обнял ее, плачущую, страдающую. Целовал голову, волосы, а она все прижималась, жалась ко мне, будто котенок – помню, хорошо помню чувство жалости, нежности, острой, горькой вперемешку с радостью, торжеством – любит! она любит меня! Можно было ни о чем не спрашивать, ничего не говорить! Но она говорила, ох, говорила! – как глоток воздуха тонущему, как мед горячий на рану! «Милый, любимый, прости... Соскучилась, изболелась... Разве могла знать, что так полюблю...». Говорила, говорила, а я задыхался, сходил с ума от счастья. И все, все, что было – расставание, Алла, все рассуждения мои, концепции-конструкции-планы – все летело к чертям, все было ненужным и неважным; мы опять были вместе. Словно злая волшебница сняла заклятье, и все плохое ухнуло в пропасть, растаяло прошлогодним снегом, и все началось заново...

И мы снова уехали в (о, чудо!) все еще пустую «нашу» квартиру, и в первый раз остались там до утра. Любили друг друга, плакали, смеялись, молчали – в тот вечер, в ту ночь я впервые познал это чудо инь-янь. Единения, взаимопроникновения – будто ты одно

целое с человеком, плоть от плоти с ним, – наверно, это и есть любовь. Эх, не хочу штампами говорить, впадать в патетику, да это и невозможно описать, передать словами. И повторить – всего лишь однажды такое дается, без права возврата и повтора: чувство полной, безграничной свободы и бесстрашия, и безмятежности, и беззаветности, – волшебный, сказочный полет. В никуда, просто полет, просто паришь где-то высоко-высоко, и рядом только она, а больше никого и ничего, одно лишь движение, наслаждение, красота, – оказалось, до того дня и не был счастлив! И не жил! Ведь даже и не знал, каково это – проснуться с любимой, не знал, каким может быть прекрасным утро, весь этот будничные ритуал – подъем, умывание, чашка чая...

Впрочем, будни никто не отменял, жизнь караулила нас за порогом. И первой ее напоминанием, первым счетом, ею предьявленным, стала Алла, – только завел я свои объяснения, она, конечно, сразу все поняла. Даже не дослушала, отбросила недокуренную сигарету, села в машину и уехала. Ну, уехала и уехала, баба с возу, – подумалось и забылось; в тот момент даже благодарен ей был, дурачок... Ничего не соображал, ничего не слышал, какое там – интуиция, инстинкты! уехала – камень с плеч! А еще через день уехали мы со Светой. В санаторий – тренер подсуетил путевку на выходные; и так как-то все гладенько, быстро получилось. Думал, Свету уламывать придется, придумывать предлоги, обставляться, если честно, даже не надеялся, но неожиданно она согласилась. Она, вообще, стала какой-то другой, новой, неузнаваемой. Тихой, покорной какой-то, думала все время о чем-то.

Два дня пролетели, как две минуты – валялись в постели, бродили по зимнему лесу, целовались, смущая пуританствующих отдыхающих, – клянусь, не было на свете счастливей человека, чем я. И я забыл, простил судьбе всю боль, все прежние обиды; просто перевернул страницу, и все. С чистым сердцем, с надеждой...

Но все когда-нибудь кончается, надо было возвращаться. Но не в прежнюю жизнь, не в прежнюю ложь – об этом не могло быть и речи. Об этом даже и думать невозможно было; планы, один смелее другого kloкотали в голове. И не было уже страха, не было сомнений – как-то само собой зналось, понималось – уже не сможем друг без друга. Господи! как же славно, как сильно тогда мечталось! В полупустом вагоне, под стук колес – вечная песня! Ну да, наверно, наверняка даже будет скандал – где это видано! студент и преподаватель! – ну и черт с ним! скандал – не расстрел ведь, правда? Теперь, когда мы вдвоем – разве страшны нам какие-то скандалы? – переступили-забыли и пошли дальше! И потом – а, может, и не будет никакого скандала? кому нужны эти скандалы, сор из избы? Уволят ее по-тихому, меня – в академотпуск. Развод, размен, поиски работы и жилья – ну и ладно, ну и переживем как-нибудь! комнат, что ли, мало по Москве сдается? С деньгами тоже что-то решим, в крайнем случае, можно и вагоны пойти разгружать – не впервой, пробовали и такое дело; опять же, спортивная моя карьера – ее тоже со счетов нельзя сбрасывать! Это ж только официально в СССР спорт – любительский, а на самом деле, – помогут, подкинут стипендию какую-нибудь, где-нибудь полставки. И с учебой помогут – на крайний случай, заочное тоже никто не отменял. А с ней (со Светой) и еще проще – такие преподаватели везде нужны; в конце концов, свет клином на Москве не сошелся – съедем куда-нибудь в пригород, а то и вообще – в другой город, страна большая. Короче, как-нибудь все и образуется, утрясется – все это я и рассказывал Свете, пока мы тряслись в электричке. Рассказывал, а она слушала, гладила мою руку, улыбалась, когда я горячился.

Москва встретила слякотью, снегом мокрым, зябко было, неудобно. Я хотел ехать с ней, горел объясниться, наконец, с мужем, скovyрнуть эту болячку, но она сказала: «Не нужно». Спокойно так сказала, уверенно. Поцеловала и ушла.

Ну, что делать, отправился и я к себе. Всю дорогу представлял, как дальше жизнь сложится, замки выстраивал, так замечтался, что даже Аллиного папашу не заметил. Уже у самой общаги, – окликнул он меня – я аж вздрогнул. И тут же обрадовался, подумал: Алла все рассказала, ругаться приехал. Что ж, думаю, так, может, и к лучшему – с трудного начать,

потом полегче будет. Хотел тяжесть поскорей сбросить, покаяться-повиниться, торопился, – веришь? – вину чувствовал перед ним, даже больше, чем перед Аллой! – уважаемый все-таки, большой человек, ко мне с симпатией, ничего, кроме добра.

Ну, ожесточился сердцем, приготовился, а он, смотрю – нет, улыбается приветливо, руку протягивает – совсем мне хреново стало, от стыда хоть сквозь землю провалился. А он – издевается что ли! – куда, спрашивает, пропал, почему не захожу, – я мямлю что-то, мысли в голове белками – думаю, может, Алла ничего и не рассказывала? Тогда зачем он здесь? Час, опять-таки, мягко говоря, неурочный. А он – будто мысли мои прочитал, серьезно вдруг так говорит: есть разговор очень важный, выделишь пару минут? Кольнуло в груди, беспокойно как-то стало. Но форсуюсь, держу марку: отчего ж, отвечаю, не поговорить, приглашаю к себе. Не палаты, конечно, царские, но поговорить тоже можно. Да ради Бога, отвечает, сто лет в общаге не был, а сам посмеивается, по-хорошему так, по-отечески – я вообще в ступор рухнул, в осадок выпал. Ладно, пошли.

Поднялись ко мне на третий этаж, я своих выйти попросил. Те поворчали, конечно, но послушались. Ну, вот, уселся я на кровать, папашке стул подставил – давай, дескать, одно большое ухо. А он раскрывает свой кейс, достает бутылку коньяка, шоколад, лимоны – выпить, говорит, Слава, надо, потому как судьба твоя сейчас решаться будет. Тут я вообще охренел – что ж за день сегодня такой, думаю. Ладно, выпили, конечно, зашумело в голове, но я – ничего, держусь. А он и спрашивает: знаешь ли ты, Слава, кто сейчас сидит перед тобой? Я отвечаю, дескать, так и так, папа Аллы, моей хорошей подруги. Все так, говорит, да только кроме того я – генерал КГБ, а ты, Слава, у меня в разработке. И документы протягивает – ознакомься, мол. Тут уж я совсем поплыл, а что такое, спрашиваю, эта разработка. Ну как что, отвечает, таланты ищем, в разведке такие, как ты ох как нужны! У тебя же аналитический ум, физподготовка, способности к языкам. Оформим тебе, говорит, перевод, доуишься в нашем ВУЗе, с моими связями это – раз плюнуть. А там – заграница, шпионство, приключения.

– Так это тесть тебя перевербовал? – Ленский покачал головой. – Лихо!

– Лихо, – эхом отозвался Силич. – В десять минут, скотина, сделал. Помнишь, как в песне: «И такое рассказал, ну до того красиво...». Через полчаса я совсем размяк, был «на все согласный»; он вторую бутылку достал. Только с личной жизнью, говорит, тебе, Слава, разобраться нужно, непорядок тут у тебя. Наконец-то! Кинулся было объяснять, что так, мол, и так, виноват, запутался, другую люблю, а он мне строго так: с Аллой, говорит, дело десятое, сами разбирайтесь. Хоть я и отец, а только это – ваше личное дело, – чуть я было не прослезился на этих словах, но он мне опять сурово так пальцем грозит. Я, говорит, о другом; роман у тебя, говорит, Слава, с замужней женщиной, а это в разведке не приветствуется. Я давай ему объяснять, что разведется она скоро, что отношения официально оформим, а он головой качает и печально так на меня смотрит. Что еще, спрашиваю, что опять не так? А он, змей, языком цокает, головой крутит, ласково ко мне так подкатывает: «Такая жена чекисту не нужна, Слава. Ведь гулящая она у тебя». Я чуть было в морду ему не заехал, вовремя удержался. А сведения, спрашиваю, такие, откуда? Так и так, отвечает товарищ генерал, Светлана твоя – тоже под наблюдением, после эксцесса одного неприятного. И замечена, говорит, с посторонним, у той самой квартиры. Летом, аккурат, когда ты, Слава, на сборах был. С неким Ильей Зарецким – знаком такой тебе? Наверняка знаком – ведь сокурсник твой. А не веришь – вот снимки, говорит. И достает из кейса фотографии...

Все помутилось в глазах; веришь? – стакан в руке держал – стакан лопнул! Так и рассыпался в осколки! Застонал я даже в голос, фотографии отбросил, будто отраву какую. А товарищ генерал посмотрел на меня снисходительно, похлопал по плечу. Времени, говорит, тебе, Слава, неделя. Если в этот срок проблемы свои не уладишь, предложение мое, считай, аннулировано. Если помощь нужна, обращайся – найти меня можно, сам знаешь, где».

Собрался – и был таков. И снова остался я один на один. С самим собой, с фотографиями. Смотрел на них, пил коньяк и с ума сходил. Почему не сошел – не знаю, – видно, по сценарию по-другому задумано было. Да, брат. Вот тебе и драматургия жизни, и ружья в первом акте...

– А дальше что было? – тихо спросил Ленский.

Силич вздохнул.

– А дальше, дружище, поехал я к Свете своей. Прямо с утра и поехал, пьяный еще, не проспавшийся. Свидание у нас назначено было, в квартире нашей. Приехал, захожу. Кинулась было она ко мне обниматься, а взглянула, в лице переменялась. Что случилось, спрашивает, а сама потихонечку за стол усаживается. А на столе – шампанское, торт, апельсины – я и помнить забыл, что сегодня ее день рождения...

Всю дорогу речь готовил, и так, и этак выстраивал, а только на порог ступил, и все из головы вылетело. Стою, молчу, с ноги на ногу переминаюсь. Она тоже молчит, только смотрит, спокойно так, выжидающе. Расставаться, говорю, с тобой Светлана Ивановна, пришел. Захотел увидеться напоследок.

А она все так же спокойно мне: «А почему?». Ну вот, и что сказать? как объяснить? Понес я пургу какую-то про измены, еще что-то, а она подошла близко-близко и смотрит в глаза, пристально так, испытующе – в последний раз я тогда лицо ее так близко видел – все запомнил, все до последней черточки вобрал.

Остановила она меня, рот рукой зажала. И вновь спрашивает: «Что случилось?». Если бы скандал устроила, с кулаками бросилась, мне бы легче стало, ей-богу. А так – стою истуканом, чувствую себя подонком последним. Понимаю: лучше промолчать, уйти – ведь все понятно уже, бесповоротно, но надежда, глупая, слепая тлеет еще, и обида, и ревность, и внутри что-то гаденькое, паскудное – привет из прошлого – так и елозит, так и подзуживает: «Спроси! Спроси ее! Пусть скажет!»

И не удержался, спросил-таки. Об Илье этом – будь он неладен! – Зарецком. Спросил, и из души моментально все вон вылетело, и злость, и обида, и ревность. Ничего не осталось, пустота одна. И тишина. И в этой тишине слова ее. Какой-то не ее голос, незнакомый, надтреснутый. «Да, я была с ним».

Больше ничего можно было не говорить. И не делать, просто повернуться и уйти. А я сделал – и вот этого себе не прощу никогда. Умирать буду, и вспомню. Перед тем, как уйти, я перед ней фотографии положил. И потом только ушел...

Силич одним глотком осушил бокал, налил еще.

– Отравилась она в тот же день, таблеток наглоталась. Не помню, не знаю как, но нашли ее, откачали. Кто рассказал – тоже не помню, – пьян был все время, словно из тумана люди выплывали.

Приехал в клинику, с кем-то приехал, а с кем – опять-таки, не помню: все незнакомое, холодное, чужое. И ее лицо, неестественно какое-то, серое, пепельное, почти в цвет с подушкой.

Подойти хотел, поцеловать, но, откуда ни возмись – глаза, черные, безумные, удар, потом еще удар... Я плакал, не от боли плакал, – просил, чтобы к ней пропустили, но оттолкнули, вытащили из палаты, дальше опять ничего не помню, память – как стерли...

– А бил тебя кто? – спросил Ленский.

– Муж ее, – Силич дернул щекой, усмехнулся. – Увидел меня и давай кулаками махать. Наверно, все-таки, любил ее – как думаешь? Один из всех нас, по-настоящему. Потом она в психушке лечилась, дальше – все, как у стандартного советского самоубийцы-неудачника. В конце концов, написала она, говорят, по собственному, и больше я ее не видел.

– Печально, – Ленский потихоньку выпрастывался из услышанного.

– Печально, – согласился Силич. – Я здорово струсил тогда, Женя. Тесть обещал замять, если что-нибудь выплывет, но не выплыло ничего, – Света моя без записки все сделала.

Хотя, шила в мешке не утаишь. Слухи поползли, шепотки за спиной, взгляды; все равно пришлось на поклон идти.

А он, гад, удивление разыграл: дескать, не ожидал, что я так скоро управлюсь. Скотина. Мы с ним жестко тогда схлестнулись, но я и эту партию проиграл – какой с меня боец? Единжды солгавши...

Я и прессануть-то его хотел, чтобы себя обелить. Будто бы вся эта история – его рук дело. Да только не тут-то было – крученный он был, волчара, верченный, старая школа. Нет, говорит, Слава, мне тебя не жаль, а что разговариваю с тобой, вообще, так за это ты Аллу поблагодари. А Алла – тут как тут, влюбленная, оскорбленная, великодушная, – так и подвелось дело к свадьбе. Ее комбинация? Может быть, кто теперь правду скажет...

– А ты не узнавал, что сейчас с твоей Светланой? – будто со стороны, Ленский слышал свой голос, вялый, негромкий. История оседала, оползала в душе чужеродной тяжестью.

– Узнавал, – кивнул Силич. – Уехала она, муж ее увез. Ты удивишься, но в твой Город – преподает в тамошнем университете. Незавидная судьба, горе побежденным, да? А победитель – я, – так часто бывает: ученики обходят учителей. Только, если так – чего ж хреново-то так победителю, а? Что ж он несчастный-то такой? Жену не люблю, себя ненавижу. Выпью, бывало, с вечера и давай мечтать: вот соберусь назавтра и поеду. Найду свою Свету, упаду в ноги, прощение вымолю. Да только на каждый вечер свое утро имеется, утром по-другому все видится. И Света не простит, и Алла не отпустит, да и сам куда не поеду – духу не хватит. И вообще, поздно уже дергаться, все уже поздно; счастье не приходит дважды...

Все, все поздно, лет сто, кажется, с тех пор минуло. И умерло все, и ничего не вернуть, а только как подступит март, оттепель вот такая, морось – не могу, все тот март мерещится, будто заново все переживаю. Вот говорят: время рассудит, расставит по своим местам, – а где мое место? где сердце мое? Получается – там? получается – прошлым живу? И кто же из нас тогда победил?..

Смотреть на друга было невыносимо. Вот! И снова эта гиперовосприимчивость, мегаотзывчивость! Ленский прокашлялся, подпустил бодрости в голос

– Слав, да ты чего расклеился? Девять из десяти такую судьбу за счастье почтут! Карьера, дом, деньги – на что жаловаться!

Силич скривил губы.

– Жень, ну не надо со мной, как с маленьким!

Ленский почувствовал подступающее раздражение.

– Да я и не собираюсь. Просто, если ты не в курсе, любовь имеет обыкновение заканчиваться. Как и все остальное. Как бы мы этого не хотели..

– Да и я в курсе. И говорил, говорил! Тысячу раз говорил себе все то же самое! Но сидит, сидит заноза в душе – не выдернешь! И неважно уже – кто кого предал, кто больше виноват! Но почему? почему все так вышло? совпало-то как все! – будто по нотам сыграно! И Алла с тестем, и Илюша этот! Нет, понимаю – они и сами пешки в этой игре! ну, если не пешки – так инструменты! И так все оперативненько, так чистенько все, уладилось – и Свету в тмутаракань, и мне в нужное направление путевку – все одно к одному! Будто к этому и готовили, а чуть сунулся не туда – по голове дубиной. Зато сейчас – полная лафа-малина – куда надо иду, что надо делаю. Только кому надо? И что будет потом, когда снова сорвусь? Сейчас? с теперешней высоты?

Ленский изобразил иронию.

– И что ты хочешь сказать?

– Много чего. – Силич наклонил голову, будто хотел бодаться. – Хотя, пустое все это, глупости. Что ж я – враг самому себе, что ли?..

Звук открываемой двери оборвал паузу, спорщики обернулись.

На пороге, улыбаясь и театрально аплодируя, стоял Юрка, а вернее, Юрий Леонидович Журов, их друг и технический руководитель проекта.

– Потом договорим! – с облегчением переглянулись оба и поднялись навстречу.

ГЛАВА 5

– Да, погоди ты, Слава! – растерянно и раздраженно Журов вырывался из медвежьих ручищ Силичем, облапившего его со всем пылом смущенного ликования, осуждающе (и ты, Брут) глядя на изображающего пассивную индифферентность Ленского. – Ты что, с ума сошел? Пьяный уже совсем? Да, отпусти же!

Он, наконец-то, выпростался, стараясь казаться сдержанным и спокойным, поправил одежду, очки. Какая-то тяжесть, принужденность засела тенью в глазах, залегла складкой у переносицы; сухое обычно, насмешливое лицо было сумрачно, исполнено злой, нервной энергии. Он оглянулся по сторонам, не найдя, куда поставить свой щегольской кожаный кейс, швырнул его в угол.

– Напились уже? Как дети, ей-богу!

Силич виновато и безропотно пробурчал:

– Во-первых, не напились, а расчувствовались, а, во-вторых, имеем право – именины!..

Не слушая его, Журов уселся в кресло, с злорадно-хищным любопытством уставился на Ленского.

Ничего рассказать не хочешь?

Ленский едва удержался, чтобы не отвести взгляд. Внеапно он понял, что боится друга, боится его вопросов, своих ответов – всего, что последует дальше.

– И что ты хочешь услышать?

– Все. – краткость и простота ответа скрывали пропасть неизбежности.

– Давай конкретнее.

– Да в том-то и дело – куда уж конкретнее!

– Эй, наука! – Силич с видом третьейского судьи поднял руки... – Если ты про инцидент, то инцидент исчерпан. Да, преступников сначала отпустили... ошибочно... Но вовремя спохватились и уже ищут, – с минуты на минуту найдут... А с Женей все в порядке, эскулап сказал – жить будет. И никаких обид, никаких претензий – скажи, Жека? Так что, с точки зрения...

Журов перебил его:

– Время остановилось, – слова звякнули монетками, раскатились по углам.

Гримаска язвительного апломба сползала с лица Силича, зацепилась за недоуменно изогнуто-поднятую бровь.

– То есть? как это остановилось? Когда?

Журов не сводил взгляда с Ленского, стекла очков застыли бескомпромиссными бликами.

– Тогда. В тот самый момент.

Силич нахмурился.

– Подожди. Еще раз – остановилось время? Как это? И с чего ты решил?

Журов пожал плечами.

– Приборы показали.

– Какие приборы? Может, ошибка?

– Ага, ошибка! – блики торжествующе полыхнули. – Скачок напряжения – вылетела к черту система, у бесперебойников корпуса оплавилась.

– И что? В смысле – что это все значит?

Журов опять пожал плечами.

– Произошла неведомая доселе реакция, что-то вроде термоядерной – я назвал бы ее расщеплением времени. Хотя, конечно, на мой взгляд, термоядерный взрыв по сравнению с этим – детский лепет.

Силич шумно выдохнул, помассировал ухо.

– Ни фиги себе... Так это мы что? чего-то там, все-таки... изобрели? Мы первооткрыватели? Первооткрыватели?

– Не мы, а он, – Журов кивнул на Ленского.

– И как это могло произойти?

– Вот это я и пытаюсь узнать у нашего друга.

– И в самом деле, Жень! – Силич повернулся к Ленскому. – Чего молчишь?

Ленский почувствовал себя лягушкой, распятой на вивисекторском столе, захотелось немедленно убежать, спрятаться. Мысли, торопливые, суетливые толкались в голове.

– И что вы хотите?

Журов отреагировал молниеносно.

– Все. Мысли, чувства, ощущения – что видел, что слышал – дорога каждая деталь, каждая мелочь. Ты один можешь рассказать, как это было.

Ох! может, тебе еще и ключ от квартиры? Нет, так не пойдет! Лучшая защита – это?..

– Хреново было, Юра! – веришь?

– Верю. А как конкретно?

Мысль юркнула в спасительную лазейку.

– Чуть не убили меня, Юра! Ты не видел разве?

Силич схватился за голову, застонал.

– Ну вот, снова! Ну, ведь договорились же! прощения попросил!..

Не обращая на него внимания, Журов подошел, присел, заглядывая снизу вверх.

– Жень, в упор не пойму, в чем дело? Или скрываешь что?

Черт! ну, действительно – лягушка!

– Как же, скроешь от тебя!.. Сам же говорил: датчики, приборы...

Стекла очков упрямо блеснули.

– Приборы – одно, свидетель, а вернее даже – виновник, а еще вернее – автор – совсем другое.

Ленский молчал, Журов встал, стал протирать очки.

– Женька, у тебя в голове – супермозг, какая-то невероятная штука, позволяющая изменять ход вещей. Мы изучаем ее уже десять лет как, но так и не поняли, не приблизились... Нет! Это, конечно, замечательно! феноменально! Но сегодня ты сотворил что-то совсем уж невероятное, необъяснимое – понимаешь ты это или нет! Ты – ходячий философский камень, восьмое чудо света! У тебя в голове – самая настоящая машина времени!

Ленский поставил бокал на стол, посмотрел другу в глаза.

– А почему ты думаешь, что это сделал я?

– А кто ж еще? – Журов усмехнулся. – Не святой же дух.

– А вдруг это тот, второй игрок? Или секундант?

Журов спрятал улыбку.

– Шутить? Нет, разумеется, все надо будет изучить, проанализировать... Не исключен рикошет, психосоматическая корреляция... Может быть, даже, своего рода, катализатор, но мы же с тобой – взрослые люди, все понимаем...

Мысль вильнула в сарказм.

– Взрослый здесь – ты один, сам же сказал – как дети...

Журов приблизился, склонился.

– Жень, да в чем, в конце концов, дело? – и уже тише, почти шепотом: – Жень, я не отстану...

Мысль извернулась дугой неопределенности – может, сказать, все-таки?

– Считаю, что я увидел привидение...

– Жень, давай серьезно.

– Я серьезно. – Ленскому были хорошо видны его глаза, беспомощно близорукие в безжалостном свете ламп, лицо, усталое лицо человека, для которого не осталось никакого убежища, кроме правды; неожиданная полоснула, стиснула жалость.

– В общем-то, я и сам еще не разобрался... Все, вроде, как всегда – ничего не предвещало... И вдруг – взрыв, буря, ураган! И хлюпик этот – ума не приложу – что с ним случилось. Такое ощущение, что это был не он...

Снова вдруг навалилось свинцовое небо, побежали тяжелые, мутные волны, мысли сплелись змеиным клубком.

– Ты не понимаешь... Это – страшно... Я чувствовал себя песчинкой, щепкой... И негде укрыться, нигде не спрятаться!..

Журов спрятал глаза.

– Жень, я все понимаю... Но это – эмоции. Согласись – глупо останавливаться в шаге от цели... И вообще, это – знак, это шанс, я чувствую! я верю! Это – как набрести на золотую жилу! До сих пор мы блуждали, шарили впотьмах, а сегодня!.. Такое дается один раз! Станем трусить и мямлить – отвернется Фортуна! Надо ковать железо! Ну, соберись! Ты же сильный! смелый!

Ленский встал, подошел к окну, рванул раму. В лицо ударил шум улицы, влажный зябкий ветер. Март! Проклятый месяц! Вот взять и шагнуть сейчас туда, в последнюю бездну, шагнуть и положить конец всем бедам!

Он вздрогнул от прикосновения, обернулся. Рядом стоял Журов.

– Ну, ты чего, Жень? Чего раскис? Ведь все – как хотели... Как планировали, помнишь?..

Ленскому показалось, что все это уже было когда-то, и сейчас еще раз повторяется. И эти мягкие, убаюкивающие интонации, и безнадежность слов, и сырая, антрацитовая ночь за окном. Он взглянул на высокий, с залысынами лоб друга, на смешные старомодные очки, на всю его нескладную, угловатую фигуру. И снова – слова, слова, пустые, бессмысленные...

– Потерпи, совсем немного осталось – я чувствую. Ну, вспомни, как все начинали, как трудно было... Неужели сейчас отступим?

Ленский еще раз глубоко вдохнул морозный, втянул колкий воздух, ощущение близкой, надвигающейся катастрофы вновь приблизилось, нависло

– Так мы о чем мечтали? Тайны судьбы, власть над будущим, триумф разума. А тут – карты, жулье... И банальное пушешествия во времени, примитивно, – не кажется: не туда свернули?...

Журов тихо рассмеялся.

– Ну, что ж поделаешь? – так уж вышло; жизнь – сложная штука, иногда грязная. И наука – своего рода, лотерея – никогда не знаешь, где найдешь. А, может, это именно то, что мы и искали? Может, это наш ключ от неба? И вообще, в любом случае, с этого дня ты уже не принадлежишь себе, уж прости за пафос. Ты теперь – священная корова, золотой фонд; уже не просто должен – обязан. Да и как остановиться, когда – такое? Шутка ли – время остановить! Так что, мы в западне, дружище, и выход – только один – идти вперед, точка невозврата давно пройдена.

Подошел Силич, большой, преданный.

– Жень, и в самом деле...

Ленский захлопнул окно, окинул друзей взглядом – умные, надежные, верные. Резко, как никогда, остро обрушилось одиночество.

– Хорошо, – неожиданно для себя выговорил он.

– Давно бы так! – Силич шлепнул его по плечу. – А то заладил: примитивно, конкистадоры! И вообще! – он патетично потряс руками. – У меня, в конце концов, юбилей! Так, может, меня хоть кто-нибудь поздравит? Может, хоть от кого-нибудь я услышу доброе-теплое-вечное?

– Друг! Брат! – в шутовском порыве кинулся на грудь ему Журов. – Возьми мое сердце, возьми мою печень! что хочешь возьми, только не грусти и не сердись!

Силич попытался изобразить что-то трогательность и восторженное, оба не удержали равновесие и рухнули на диван. Ленский грустно улыбнулся.

– Шуты гороховые! – прошептал он, понимая, что теперь праздник уже неотвратим и неостановим, и ничего уже неотвратимо и неостановимо, что все просьбы, все увещания уже бесполезны, запоздалы, что в права вступает безжалостное, зыбкое и тревожное завтра.

Что ж, пусть наступает это завтра, такое, каким оно должно быть. Пусть становится словами и делами, победами и поражениями, и пусть воздастся каждому по судьбе его, по судьбе и по вере...

ГЛАВА 6

– Ни фиги себе! – верещал чей-то тонкий, жалобный голос. – Олег Львович, мы так не договаривались!

Женька открыл глаза и сразу же определил – он в своем корпусе (дортуаре – из казарменно-куртуазного с претензией лексикона Львовичей), в своей кровати, так же сразу все вспомнил – Черное озеро, лилии, змей; ощущение явственности, осязаемости было столь велико, что руки сами собой потянулись ощупать голову – нет ли венка? Увы, нет, нет, никакого венка – еще бы! откуда ж ему взяться! – это ведь сон был! сон! И он закончился – как заканчивается все и всегда, и хорошее, и плохое, и хорошее – всегда чаще и быстрее плохого! Да и плохое случается чаще – вот этот голос, например – точно из этой категории и явно по его душу. Еще пока непонятно: что, как, почему, но интуиция ясно подсказывает – ничего хорошего не жди. Эх! и стоило просыпаться! Если б можно было не просыпаться!..

Будто услышав его тот же пронзительный, назойливый голос снова заканючил:

– А вот следы! Олег Львович, смотрите – следы!

Послышался недовольный голос воспитателя, быстрые, раздраженные шаги.

– Ну, что там у тебя еще? какие еще следы?

– Мы с вами как договаривались? Чтоб убирать на общих основаниях, – вибрировал голос, – а здесь посмотрите – грязь на полу прямо кусками!

Хлопнула дверь, на пороге возник Вовка Каменев, за ним, почесываясь, заспанный и полуодетый – Олег Львович. Щурясь от солнца и всем своим видом выражая крайнее недовольство, он смотрел вниз, куда указывал толстый Вовкин палец.

– Видите? Следы, – с гордостью, будто выследил шпиона, доложил Вовка. – Вот, от Ленского кровати.

– Скорее всего, к... – поправил его Львович, рассматривая что-то на полу.

В какой-то момент блуждающий взгляд воспитателя столкнулся с Женькиным, метнулся в сторону; торжество микропобеды, еще что-то, новое и незнакомое заставили с независимым видом усесться на кровати, изобразить зевок.

– Не буду я убирать, – (что это с ним?). – Я этого не делал.

Многие в комнате уже проснулись и с интересом вслушивались в разговор.

– А кто ж тогда? – в голосе педагога скользнула издевка. – Вон и ноги у тебя грязные, постель всю изгваздал!

– Да он это! он! – закричал Вовка. – Вот и кеды его, посмотрите! – он пнул бесформенное и безобразное нечто, облепленное пластами налипшей грязи и отдаленно напоминающее кеды.

– Ну, так что? – повернулся к Женьке воспитатель. – Что ж ты? получается – врешь, да?

Мысли выстраивались молниеносными пирамидками, недавняя обида конвертировалась упрямой и горячей злостью; Женька дернул плечом.

– Кеды кто угодно мог взять. И потом, – выброс ехидства в Вовкину сторону, – какая разница? Получил три наряда – так и убирай!

– Дерзишь? – голос Львовича не предвещал ничего хорошего. – Обстановку дестабилизируешь?

Как правило, после подобных слов следовало примерное наказание – «уроки (и опять терминология Львовичей) любви к Родине», проводимые доверенными лицами последних в каком-нибудь укромном уголке, – после них провинившийся появлялся грустный и задумчивый, с распухшим ухом или ссадиной под глазом и уже не пытался «дерзить», «качать права» или каким-либо иным способом «дестабилизировать» обстановку; странно – почему ему не страшно? Женька взглянул на воспитателя, на утиный нос, нижнюю губу, снова поразился сходству с селезнем. Ну, точно – вот же он, надутый, самодовольный, жирный, важный,

глупый – совсем как в сказке Андерсена! Разгуливает по двору, вглядывается в небо – как нарочно, в эту минуту воспитатель шумно вздохнул, поднял голову, изображая муки долго-терпения, и Женька хихикнул.

Педагог осекся, насупился.

– Ну, смотри, как знаешь! – он повернулся к застывшему рядом Вовке: – Что замер, родной? Со слухом плохо? Тебе сказали: убирай давай, раз дежурный! – последнее слова он произносил уже на пороге, уходя – решение было принято, акцентные расставлены.

– Ну, все, крыса! – пообещал Вовка. – Ты – труп!

Женька мысленно шлепнул себя по лбу – ну вот, на пустом месте неприятностей себе организовал! И ведь, если по честности – его, его следы, и кеды его, и все это глупое препирательство – спросонья, сгоряча, – ну, почему! почему он такой дурак! Хотя, постойте! – не мог же он, в самом деле! не было, не могло быть ничего такого! Или мог? Или могло? было? Ночь, озеро – голова плыла суматошным видеорядом, он пытался выхватить хоть что-нибудь связанное, соорудить объяснение. Чья-то шутка? вряд ли – кому он нужен, опять же – в голову, что ли, залезли? мысли прочитали? Впрочем, и не мысли, конечно же, а сон, впрочем, и не сон, видимо, ну хорошо, пусть будет не сон, допустим, что не сон, а что тогда? Галлюцинации? Лунатизм? Но какой, на фиг, лунатизм – он никогда! ни разу ничего такого! Стоп! А, если не сон, и не лунатизм, а в самом деле – тогда что? Тогда что это такое? Чудо? Волшебство? Но этого не может быть! Не может, потому что – не может! Не бывает чудес на свете! Господи! рассказать бы кому-нибудь, исповедаться! Но кому? Не Вовке же, не Львовичам! И не «сокамерникам» – трусы они все и мелочь – не поверят, на смех поднимут; чего доброго, и в психушку загреметь можно, – впервые он порадовался, что так и не обзавелся друзьями. Можно было бы – родителям, бабушке, но они далеко, да и вообще...

Внезапно пришло осознание, ясное и безоговорочное – он никому и ничего не расскажет, никому и никогда, – теперь это – его тайна, его чудо. Его сказка. И за нее ему, кажется, скоро влетит. Ну и ладно, влетит – и влетит, чему быть, того не миновать; за все когда-нибудь придется платить. В том числе, и за тайну, за сказку; вернее – тем более – за сказку!

Неожиданно стало жаль себя, защипало глаза – ну вот! еще не хватало расплакаться! Тоже, герой, плакса-размазня нашелся! Ладно, храбрись не храбрись, а тревожно, нехорошо на сердце – так себе история, гнусенькая. Да и вообще – немыслимая, неслыханная! – чтобы он, тихоня и слюнтяй, кому-то нахамил! И уже не понять, отчего хуже – от того, что нахамил, или от того, что за это влетит. И ведь нахамил умышленно, заведомо – как это? с отягчающими? – так, кажется, в суде говорится. При оглашении приговора – вот-вот, сам же себе приговор и вынес, и подписал! Так что, кроме как на самого себя, жаловаться не на кого. И прощения просить бессмысленно и поздно, поздно, потому что бессмысленно и бессмысленно, потому что поздно, – этот мир не прощает ошибок, не признает сослагательного наклонения. Да и не хочется как-то прощения просить. И даже не не хочется, а нельзя! Невозможно, недопустимо – у кого? у этих уродов? – он себе не простит никогда! Просто не сможет, не сумеет! – что-то изменилось, до неузнаваемости, навсегда; он теперь много не сможет...

Женька ловил на себе любопытно-сочувственно-злорадные взгляды соседей, ожидал страха, но страха не было. Наоборот, хотелось, чтобы поскорее все закончилось, и не то, чтобы закончилось, а началось – мысли, чувства путались, повисали саднящими лохмотьями, он не узнавал сам себя – сон? это все сон? А еще через несколько минут разнесся слух: ночью кто-то положил венок из лилий (!) в девчоночью половину, кому-то (кому-то!) на тумбочку, и там сейчас переполох. Впрочем, переполох был везде, все шушукались, делали загадочные глаза, и снова все кувыркалось в голове, и невозможно было все это видеть, слышать, терпеть, невозможно было молчать; сигнал подъема был спасением. Он долго умывался, плеская водой в лицо, подставляя голову под ледяную струю – хотелось остаться так навсегда, – змеи, лилии, Львовичи – все вертелось пестрым клубком; внутри будто бы поселились два человека – тот,

который из сна, и тот, который прежний, настоящий, но только где он настоящий? И что значит – настоящий?

Линейка, завтрак – все пронеслось бессвязной и бестолковой прострацией, только спускаясь с пригорка к своему корпусу, увидев засаду, Женька наконец-то вернулся в реальность, мысли заметались пескарями. Ну да, ну да, сон сном, а педагогический процесс никто не отменял; вот и учителя, те самые «старшие товарищи». Все те же: Гога, Холодов, Бегунов, приبلудным хвостиком-довеском – «оскорбленный и униженный» Вовка Каменев. И все, разумеется, по его – эх, Ленский, Ленский! – душу. У Гоги и Холодова красные глаза – последствия бессонной (явно где-то «оттягивались») ночи, оба злые, раздраженные – чувствуется даже на расстоянии, – как говорится, если везет – так во всем. Что ж, вот и пришел «твой час», момент истины, кажется, сейчас тебя будут бить (голос за кадром ехидно пропел: «и, возможно, даже ногами»). И где же твое хваленое чутье, способность избегать, балансировать, лавировать (тот же голос: «лабировали-лабировали, да не вылавировали») – экстерьер и аттестат (увы и ах!) трусости, бесхребетности, посредственности, комформизма! Но сколько веревочке не виться; не бывает так, чтобы и нашим, и вашим, чтобы и волки сыты, и овцы целы. И он в этой ситуации явно не волк – ну, какой из него волк. Волки – сильные, клыкастые, волки – когда стаей, волки – это вот эти, и они пришли, чтобы его... черт! а ведь сейчас его будут бить! бить! А ведь его никогда и никто не бил, он никогда и ни с кем не дрался – борьба, тренировки не в счет! На тренировках – вообще, все понарошку, а вот сейчас, здесь – все совсем не понарошку, и очень-очень даже не понарошку! Но не страшно! ни капельки! ни крошки! Не страшно, и мука эта, тоска эта, заноза, это что-то новое и пока неизвестное, непонятное – рвет, рвется наружу! – честное слово! лучше бы было страшно! Да! точно! – наверняка было бы легче, убедительнее разыграть дурачка, непонимание, может быть, даже удалось (удастся?) «выйти сухим», даже «сохранить лицо». Да и почему не удастся? Конечно, удастся! Сейчас, только поднапрячься, спрятать, погасить это новое (и откуда что взялось на его голову!), влезть в привычную маску. Или не влазить? Как-то не хочется уже, если честно, и не то, чтобы трудно, в лом, а... черт! и не объяснишь даже! Себе самому не объяснишь! Господи! И вот что делать? Что выбрать?

– Ты че, малой, в конец оборзел? – с места в карьер взял долговязый Гога. – Ты че начальству дерзишь? Хочешь, чтобы весь отряд за тебя раком поставили?

И ведь не страшно! не страшно абсолютно!

– Да, че с ним базлать, Гога? – лениво процедил Холодов. – Накостыляем ему, и дело с концом...

Гога сплюнул.

– Да сдался он тебе! Спать, блин, охота! – он ткнул Ленского в плечо. – Слышь, ты, крысеныш! Ты ж у нас уже, вроде как, пострадавший? Так и вали к Львовичу прощения просить! – на первый раз внушением отделаешься! Всосал, недоумок?

Вот! вот оно! само в руки плывет! Улыбнуться, пропустить мимо ушей «недоумка» и «крысеныша», выдать что-нибудь нейтральное-умиротворяющее. А потом набрать в коробок рыжих муравьев, уйти на полянку...

– Подожди, пацаны, у меня тоже пару вопросов имеется. Личных, – что? Бегунов? А этому-то что от него надо?

– Бля, Серый! – скривился Гога. – Спать охота!

– Один сек, мужики, – заискивающе успокоил подельников Бегунов, – я мигом. Это ты Ленке моей лилии притащил? – вопрос повис в пространстве, и все вокруг сфокусировалось, сконцентрировалось в нем, в одном коротеньком и односложном ответе – да? нет? Да или нет? Нет! нет! конечно же, нет! Давай! – улыбка, круглые глаза, неведение-непричастность – отпустят, простят, «внушением» отделаешься!..

– Конечно, я, – ответил за него кто-то другой, тот, из сна. – А что? нельзя?

– Ах, ты гад! – Бегунов рванулся было, но Холодов схватил его за локоть.

– Совсем офигел! Здесь?!

Воровато оглянувшись (ненатурально! фальшивит!), задушив голос, Бегунов придвинулся вплотную:

– Пойдешь со мной «мах на мах»?

Пахнуло несвежим (зубы не чистит, что ли!) изо рта, ожгло неприязнью, раздражением. Женька отстранился, в который раз отметил невыигрышный экстерьер (и что в нем Грушкова нашла!) соперника – мелкие черты, бегающие глаза, подобострастие вперемежку с заносчивостью – к раздражению добавилось что-то еще, практическое, взвешено-трезвое: а хорошо бы наказать гада.

– Пойду.

– ...! – ругнулся Гога. – Достали!

– Успеешь ты выспаться! – Холодов наоборот оживился, сделался энергичным, хлопотливым. – Пошли на наше место!

Господи! сон, сумасшествие продолжается! В голове – абсолютный хаос, ощущение такое, что и не просыпался вовсе или – в кино, или и то, и другое одновременно, – такая солянка, сомнамбулическо-кинематографическая каша, – будто и не с ним все, будто все со стороны, из зала. Вот они все вместе идут за корпус, на «наше место» – укромную, вытопанную многими поколениями, со всех сторон закрытую густым сосновым подлеском, полянку – тот самый «класс», для тех самых пресловутых «уроков», вот кто-то другой, не он, идет, дышит, что-то говорит, вот они с Бегуновым, друг против друга, в центре импровизированного круга, – Господи! неужели все это с ним! неужели все это на самом деле! наяву!

– Ну что, давайте, – искаженная зевком команда Гоги упала невнятной нотой, и пространство расплылось зелеными с голубым разводами. И кто-то выключил все постороннее, ненужное, остались они одни, он и Бегунов. Он и Бегунов; он и противник, обидчик, соперник, враг – вот, оказывается, как выглядят враги. Когда не притворяются, в естественной среде. Потное лицо, суженные глаза, сжатые кулаки – он, наверно, и сам сейчас такой же, – ф-фу! гадость какая! какой ужас! А, впрочем, плевать! на все плевать! Удивительно – почему он не боится?

Так, что-то надо делать, что-то же делают в подобных случаях. Ага, вот, например, снять шлепки. Зачем? – что б не мешали – он же драться сейчас будет! Как драться? Кто драться? Он? Да, черт, возьми! он! он! И сейчас ему, кажется, накостыляют по полной программе! уж это – как пить дать! Потому, что противник старше, крупнее, сильнее! И потому, что прав – это он, Ленский принес те лилии! Он! он! больше некому! И за это придется отвечать – по всем законам жизни, которые – ну, просто сумасшедшее «везение», правда? – каким-то «чудесным» образом совпали с этими идиотскими, кургузыми, так называемыми, «пацанскими» понятиями! Но нет, нет страха, ничего нет, одна ровная, отстраненная внимательность, целеустремленность; нервы – дебелыми, стальными жгутами. И тело – не его! не его тело! – послушное, гибкое, сильное, само по себе двигается, живет, и все, все – зрение, слух, обоняние, все обострилось, ожесточилось, обнажилось, будто он и не жил, и не видел, и не дышал до этого: рельеф земли под ногами, стволы сосен, терпкий аромат хвои – все явственно, резко, ярко, сильно. Карусель лиц, лицо врага, – это враг, враг, его надо победить, истребить, уничтожить! Смять, как конфетную обертку, разорвать, растоптать, распотрошить, и – зуд, жжение в кулаках, и жадный истовый голод, и пляшут, дрожат лихорадочным ознобом чаши весов – рано, рано еще, еще не время. Еще не вызрел плод, еще висит, томится капля на ветке, и все сплетено, связано, свито, срошено в невидимую тактильную паутину, контрапунктуру мгновенных и точных осязаний; сердце, мышцы, мозг работают слитно, воедино, в унисон. И пляшут, пляшут весы, и пляшут, сбиваются в сливки ярость, бешенство, гнев, – враг все ближе, бьет, бьет, смеется, доволен собой; горят, саднят ссадины, горит, саднит сердце, но рано, рано, рано! И – вот! вот оно! – будто взмах, всплеск, сигнальная ракета и срывается капля и срывается тело – будто в интерактивной и ассоциативной яви его имперсональный двойник бьет в просвет рук,

локтей, в чужое, ненавистное, и оно поддается, откатывается, отступает. Оно исчезает! Падает! И мгновенно, немедленно – истовое, свирепое, сладострастное, наслаждение всемогущества и мести, смазанным сумбурным видеорядом – невнятное, смутное копошение у ног, кто-то незнакомый, непонятный – прижатые к лицу ладони, глухие, невнятные звуки. Слова, плаксивые, жалкие, невероятные – это он? враг? Бегунов?

– Ах ты, тварь! Всю майку закровянил!

Тишина, скомканная, растерянная, чей-то голос:

– Ни фиги себе, за хлебушком ходили...

– Ты че натворил, урод? – откуда-то со стороны, из бокового периферийного кармана – Гога, большой, жилистый, широкий. Злобное, перекошенное лицо, красные прожилки глаз, – как на тренировке – удар по опорной, и в проброс злобе, ненависти, беспомощности, уже падающему – хряско, жестко – в скулу, в ухо, в переносицу – а-а! больно, бля!

Неясное движение сзади, что-то лопнуло на лбу гулко, брызнуло, – сквозь боль, горячее, соленое – дикое лицо Холода, громадный сук, занесенный для удара, не дожидаясь новой атаки, новой боли, не вытирая кровь, броситься, сбить с ног, прыгнуть коленями на грудь и бить, бить и бить, сильно, методично, словно забивая гвозди, исполняя страшный приговор вколотить, втоптать, всю эту наглую, подлую мерзость, это ненавистное, проклятое прошлое, ненавистную и проклятую кабалу...

– Стой! Стой! Остановись же! – кто-то обхватил сзади, тянет за плечи. – Как его зовут? Женя? Женя! Женечка, остановись! Ты же убьешь его!

Голос вибрирует, срывается, и Ленский почему-то слушается, замирает с поднятым кулаком. Где он? кто он? Холодов тоненько скулит под ним, пытаюсь выбраться, окровавленный, дрожащий, отвратительный, – опереться на него, подняться. Все плывет, качается – качается лес, лица, знакомые и одновременно незнакомые, не похожие на сея мальчишки, со страхом и любопытством глазющие на него, какой-то незнакомый парень – вскинул руки, что-то говорит... Что?

– Все, Женя, все закончилось, – слова незнакомца доносятся до слуха слабо, глухо, будто из другого мира.

А кто такой этот Женя? Это он? он? Странно, ему кажется, его зовут совсем не так, а по-другому. Вот только как, не вспомнить...

– Что здесь происходит?

Ленский чувствует облегчение. Наконец-то! Вот это – знакомый голос, голос Олега Львовича, воспитателя отряда.

– Это безобразие! Это мои дети! – голос растет, раздувается, рвется на части, как лопнувший воздушный шарик. – Кто их так избил? Это он? Подонок!

Ленский видит направленный на него палец, палец двоится, колеблется в волнах тумана, откуда-то опустившегося на поляну. Он виноват? Ну и пусть! Только бы отдохнуть. Безумно хочется упасть. Упасть и заснуть...

– Подонок – это вы! – пробиваются сквозь туман невероятные, неслыханные слова. – Это с вашего ведома эти негодяи напали на ребенка, и вы за это будете отвечать! Этот мальчик вчера перенес сильнейший стресс, а вы утаили это от руководства и от врачей! Более того, вы уже сейчас пьяны, от вас разит за версту! Не хотите пройти освидетельствование?

Провал. Молчание. Тишина... Затем снова незнакомый голос, теперь уже сосредоточенный, мягкий:

– Так, ребята, давайте его под руки...

Чьи-то руки подхватывают, несут, – уже второй раз за сутки такое. Может, он герой? Как триумфатор, олимпийчик в Древней Греции? А, впрочем, все равно.

Небо над головой колыхается ультрамариновой бездной, все ближе и ближе, и он то ли поднимается, то ли падает в него. Хватаясь за последние обрывки яви, за всплески сознания –

рассмотреть, разобрать что-то, чего не видно с земли, но синева густеет, наваливается, сознание схлопывается хлипкой картонкой – его больше нет, не существует, он – нигде... Нигде и везде...

Когда он очнулся, рядом не было никого – он был один в незнакомой, оклеенной веселенькими, в цветочек обоями, комнатке. Тумбочка, столик с веером брошюрок, за стеклянными створками белоснежного металлического шкафа – какие-то коробочки, ампулы – да это же медпункт! Точно – медпункт! – их водили сюда по приезду – взвешиваться, мерять рост. Вон, в окно, в низинке – бетонные плитки дорожки, молнии на дверях трансформаторной будки. Но почему он здесь? Что с ним? Он прислушался к себе – шум в голове, саднят кулаки – что ж такое с ним случилось-то? – память обрывалась как раз в том месте, когда он... когда он... О, Господи! он же дрался! Избил Бегунова, Гогу, Холода. И, кажется, сильно избил – ох, и натворил делов! наверно, скандал будет, погонят из отряда, из лагеря, родителей вызовут. Могут еще и в школу кляuzu настроить – это запросто, да и поделом – нет, ну, в самом деле, будто белены объелся, с цепи сорвался. Хотя, конечно, так им, гадам, и надо, и родители все поймут, и учителя, и вообще – геройство, подвиг, конечно – кто бы мог подумать, еще вчера и все такое; но кошки скребут на душе, ох, скребут. Или это был сон? Уже второй за утро? Хотя, какое утро – время явно вечернее, тяжеловатое, будто уставшее. И потом – не мог же он сутки проспять! – не такой уж он и слабак. Как оказывается – это ж надо! троих здоровяков уделал! Так что. марш-марш, подъем-вперед, нечего хныкать и рефлексировать!

Женька уже хотел было подняться, но тут дверь в комнату распахнулась, и он моментально закрыл глаза, притворился спящим. И тут же почувствовал досаду – зачем, от кого притворяться, прятаться? Видимо, вошедший думал так же, потому что, довольно бесцеремонно уселся на край кровати, взял руку, нащупал пульс.

– Да ладно тебе! всю программу мне культурную срываешь!

Тот самый голос! Того незнакомца! Который отбил его у Львовича! Женька немедленно открыл глаза. Перед ним сидел парень лет двадцати пяти, в красной футболке с английской надписью, в джинсах. Короткая стрижка, округлое приятное лицо, серые глаза – неожиданно захотелось подружиться с ним, подружится по-настоящему, крепко и надолго, как в книжках. Впрочем... Ага! размечтался! Чего только не придет в больную голову – у него, наверно, сотрясение мозга. Причем, врожденное и пожизненное – что это он, с чего это о себе возомнил! Он – «рыжий» в «черном» муравейнике, гадкий утенок и белая ворона, – вот такой вот энтомологическо-орнитологический гибрид и парадокс, ходячий эталон неудачия и неблагополучия. А с сегодняшнего дня еще и – экстремист, и садист, дискредитирует светлое имя юного строителя, – на ближайшей линейке будет, как минимум, четвертован. Или распят – прямо на флажке, на перекладине из Львовичского спиннинга, – вот тебе и мермелон-ретиарий, вот тебе и рыбку половили, ха-ха! И вообще, с этого дня на судьбе его можно ставить жирный крест, с этого дня судьба его известна и определена – письмо в школу, отметка в характеристике, постановка на учет в детской комнате милиции. Ну, и дальше – вниз, по накатанное-нисходящей – стандартная кривая дорожка отступника-неудачника, все как под копирку, с метафорической перспективой «сдохнуть под забором»; черт! родителей, бабушку жалко! Впрочем, надо отдать должное – соблюдаются все принципы гуманности и последовательности-постепенности, вот и парня этого ему подкинули – виде утешения и демпфера, очевидно.

Должно быть, что-то изменилось в его лице, потому что парень стал серьезным и назидательным

- Ну-ну! ты не дергайся, тебе сейчас покой нужен! Ты как чувствуешь себя, герой?
- Нормально, – о! и голос под стать – осипший, разбойничий.
- Нигде ничего не болит?
- Нет.

Парень выудил откуда-то стетоскоп.

– Встань-ка, я тебя послушаю.

Так он, значит – доктор! А почему не Тамара Федоровна? Специально по его душу? Все так плохо?

– Тамаре Федоровне срочно понадобилось в город, я ее заменяю, – он что? мысли подслушивает? Впрочем, наверняка, ничего такого и не требуется, все у него на лбу написано. Вместе со всеми остальными вехами «славного» пути, – интересно, когда дознание, суд начнется? Хотя, конечно, все должно быть по правилам, надо соблюсти все формальности, например – медосвидетствование перед казнью; «да здравствует Советский суд, самый гуманный суд в мире!». А вообще, если честно, даже не верится, и доктор этот – вполне себе ничего, соответствует. Уверенные, неторопливо-точные... движения, голос – доброжелательный, приветливый, – а, может, еще и обойдется все, а? может, пожалеют, смилостивятся на первый раз? – будто заблудившийся, луч солнца скользнул по желобку шпингалета, потерялся в стерильно-зеркальных недрах шкафа.

– Ладно, давай знакомиться, – парень улыбнулся. – Зовут меня Игорь Николаевич, можно просто – Игорь, я – врач. – он немного смутился. – Ну, не врач еще, в общем-то, пока только интерн, практикант. Но квалификации, чтобы ушибы обработать, бровь зашить – хватило. Или претензии какие-нибудь есть?

Претензии? Издевается, что ли? Женька мотнул головой.

– Тогда вопрос. – в серых глазах скользнула-затеплилась ирония, – можешь объяснить, из-за чего весь сыр-бор? Куликовское побоище просто какое-то! Девчонку не поделили, что ли?

Ага, как же! смилостивятся! Женька стиснул зубы – не собирается он ничего объяснять! как будто это что-то изменит!

Игорь примирительно поднял руки.

– Ну, не хочешь – не говори. Только отделал ты их уж больно качественно – как бы неприятностей не было на наши головы.

Что? Луч извернулся, ударил в глаза радужным. Ему не послышалось? «На наши», «на наши» головы! И так естественно, так убедительно! Так что, получается, не все еще потеряно? И Игорь этот – не из расстрельной команды, а даже совсем наоборот – единомышленник! защитник!

Игорь потрепал за плечо

– Да ладно тебе переживать, замнут все, не выйдет ничего за периметр, – кому это надо – сор из избы. Ни Нине Васильевне вашей, ни Львовичам с компанией – это ж скандал Вселенский! Для Нины Васильевны – конец карьеры, прощай, хлебное место, а тем – так, и вообще, суд со всеми вытекающими, они все, вообще, под статьей ходят.

– Под какой статьей?

– Под уголовной, – Игорь изобразил назидательную гримаску, покивал.

– А ты откуда знаешь?

Игорь рассмеялся – белые ровные зубы, ямочки на щеках.

– А у меня старший брат – милиционер, от него нахватался. Так что, не будет никаких неприятностей, спустится все на тормозах. В самом худшем случае – погрозят пальчиком, пожурят для проформы и все на этом. Да и я тут еще на их голову – они теперь все на цыпочках ходят, дышать боятся. – он снова белозубо рассмеялся. – Слушай, ты мне другое скажи. Ты как троих здоровенных бугаев отметелил?

Женька молчал. Тон – самый приятельский, располагающий, ни тени обвинительства. Но говорить о случившемся почему-то не хотелось.

Игорь приложил руку к груди.

– Нет, ты не подумай! я с чисто практической, медицинской, если хочешь, точки зрения – как? Как такой, как ты, мог справиться с такими, как они? Ведь ты – прости, конечно! – явно не Илья Муромец и не Брюс Ли. Скорее всего – музыкант. Да? Угадал? Да музыкант, музыкант! Вон – пальцы длинные, тонкие! Сбил все на костяшках к чертовой матери, места живого нет. Так как? Чем объяснишь? Этому что, сейчас в музыкальной школе учат?

– Я еще борьбой занимаюсь...

Игорь прищелкнул пальцами.

– Ну, хорошо, допустим: разносторонняя личность, ударник-многостаночник; и все-таки! Хорошо, спрошу прямо: это правда, что тебя вчера молнией ударило?

Ну вот! И ты, Брут!..

– Правда.

Игорь придвинулся.

– Вот! Вот то-то и оно! Не находишь никаких совпадений? Еще вчера – музыкант, ботаник, а сегодня – уже всю хулиганам челюсти крошишь! Что скажешь? А, вообще, каково это – когда молнией? Можешь рассказать? ощущения-впечатления? – сквозь шутливость, напускное-несерьезное – внимательность, основательность.

Закрыться, замкнуться, изобразить смущение.

– Да ничего особенного... – Игорь наблюдал за ним, не отрываясь, все так же внимательно, с надеждой, – стало стыдно, неловко. – Если честно, я и сам толком ничего не помню – все как в тумане...

– Ну, и хорошо, – неожиданно легко сдался Игорь, – потом вспомнишь. Хотя, по-хорошему – надо бы в больничку тебя, обследовать как следует; томографию мозга неплохо бы... Ладно, в любом случае – все это не сейчас, после как-нибудь выберем денек, съездим в город. А пока – отдыхай, сил набирайся, день-два придется поваляться. Не пять звезд, конечно, но тоже ничего. Душ с туалетом – за дверью, еда – в холодильнике, а я отбываю – надеюсь, до утра. Свидание, брат, война войной, а любовь по расписанию, – он заговорщицки и приятельски (приятно!) подмигнул. – Ты, кстати, тоже можешь не стесняться, если что. Чего смущался? Не помню – шестнадцать-то есть тебе уже, герой?

– Есть, – неизвестно почему, соврал Ленский.

– Ну, вот! – Игорь опять (привычка такая?) прищелкнул пальцами. – Практически совершеннолетний, возраст Ромео! При том, что Париса своего ты уже одолел, причем сразу трех – имеешь право на расслабиться! – он шутливо толкнул Ленского в бок. – Ладно, шучу я, шучу! Тебе сейчас нервишки в порядок привести. Отдохнуть, поспать... – взгляд его вдруг стал твердым, тяжелым... – Поспать... – глаза превратились в два медленных, тягучих омота, притягивали, затягивали, – Женька хотел было возразить, что не хочет спать, что выспался на неделю вперед, но, вместо этого зевнул, потянулся. И в самом деле – почему бы и не поспать? Веки отяжелели, подхватили, понесли от берега ласковые волны, понесли прочь, вдаль, туда, где над лазурным горизонтом растянулись розовые с фиолетовым облака, облака счастья. Счастье... Где-то он это слышал... Все хотят счастья...

Когда он проснулся, Игоря уже не было, день за окном догорал; будто сквозь вату – звуки лагеря, голоса, обрывки музыки. Кажется, Игорь его усыпил, – он и гипнотизер еще, оказывается. И усыпил хорошо, качественно – голова теперь совсем ясная, чистая. И вообще весь – будто заново родился, будто яблоко налитое – сила, бодрость, жить хочется! И есть хочется – слона бы проглотил! прямо желудок сводит!

Женька бросился к холодильнику, вытащил (спасибо, Игорек!) кольцо колбасы, сыр, батон, стал есть, быстро, жадно, ломая все (некого стесняться!) руками, запивая прямо из горлышка густым белоснежным кефиром.

Насытившись, улегся на кровать, побежали мысли сытые, неспешные. А ведь Игорь прав, уж очень неспроста все, уж очень похоже на закономерность – молния, сон, драка. Впрочем,

что-то такое и ему самому в голову приходило, болталось где-то в глубине мутненьким-смутненьким – как-то все связано одно с другим, звенья цепочки. И Игорь этот! – тоже неспроста – в кои-то веки ему так повезло! И можно, конечно, ерничать, ехидничать – как это? мистический склад ума? романтик-фантазер? – но как? как тогда объяснить все это? А грязь на кедах? А венки из лилий? Тоже совпадение? Слишком много как-то совпадений!

И все-таки. Слишком уж фантастично, сказочно. Нет, лестно, конечно, считать себя избранным, уникалом, но разве так бывает. Лучше не очаровываться, чтобы потом разочаровываться – разочаровываться всегда горько, горько и обидно, уж он-то знает. Так что... И вообще, чего гадать, скоро все станет ясно; бабушка говорит: жизнь рассудит. Рассудит, ох, рассудит; мысли сбились, свернули на приятное: зато у него теперь есть Игорь. Умный, добрый, справедливый – вот бы, действительно, подружиться! Наивно, конечно, думать, что такой, как он, Ленский, может быть чем-нибудь интересен или полезен такому, как Игорь, но все-таки. А! ну так вот! – кажется, тот фрустрирует по поводу музыки – скользнуло! скользнуло завистью-ревностью! было что-то такое в голосе: «музыкант»! – так и надо на этом (каламбур, да?) сыграть. Научить, – не на фортепиано, конечно – сложно-долго, да и где его здесь взять, фортепиано? – а вот на гитаре – почему нет? А что? Сейчас самый модный инструмент! И самый доступный – даже у них в отряде имеется – брэнчат на ней все, кто ни попадая, безбожно фальшивя и перевирая мелодии, все эти «What can I do?» и «Smoke on the water». Он и сам, если честно, тоже не ас, но по сравнению с ними – Паганини, – родители из поколения «шестидесятников»: Визбор, Окуджава, Галич, гитара в доме – часть жизни и интерьера. Ну да, да, другой на его месте легко завоевал бы популярность и неприкосновенность, занял место придворного трубадура, но при одной только мысли в душе все переворачивается. Играть для этих? – да лучше тогда вообще не играть! Вот Грушковой он бы поиграл – это совсем другое дело! – странно, почему раньше не пришло голову. А, может, и приходило, но он прятался, делал вид, – и неизвестно чего больше боялся – Бегунова или самой Грушковой, ее презрительного «нет», очередного разочарования. Но сейчас! сейчас! – как минимум, один из страхов (Бегунов) устранен, а второй... Да и второй уже как-то не особенно-то и страшен, даже наоборот (удивительно просто!), хочется поскорее схлестнуться, попробовать, так сказать, на прочность, так что, если не погонят из лагеря, можно и попытаться. Хотя... Черт их разберет, этих женщин – вполне вероятно, что вот именно в этот момент Грушкова накладывает повязку его сопернику, окропляет йодом раны на, увы, неблагородном и невысоком челе – всеизвестный и всерасхожий паттерн, компиляция либидо и материнского инстинкта.

Вообще, до этих пор любовь оставалась для него загадкой. Болезненной, назойливой; смутные желания, объективизированные книгами и актуализированные пубертатом, понемногу синтезировались неким абстрактным, универсально гуттаперчевым образом, определяемым столь же абстрактными и противоречивыми параметрами, требованиями-условиями. А, впрочем, не было! не было никаких требований, никаких условий! просто – робкое, жадное, суматошное, доверчивое, – достаточно было преодоления некоего эмоционального порога, достаточно было всего лишь взгляда, теплого, чуть теплее, чем требовала стандартная вежливость, интонации, намек, призрачного, зыбкого обещания, настоящего на искренности, радости, близости. Пусть даже гипотетических, иллюзорных, – так, в конце концов, и случилось – счастливой обладательницей приза стала ничего не подозревающая преподавательница музыки, нечаянно превысившая (надо признаться, все-таки, довольно путаные и неопределенные) пороговые значения, – датчики сработали, капкан захлопнулся, любовь начала свой отсчет...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.